

ЕЛЕНА КРЮКОВА



Исторический роман

ТЕНЬ СТРЕЛЫ

Елена Крюкова

Тень стрелы

«Автор»

2008

Крюкова Е. Н.

Тень стрелы / Е. Н. Крюкова — «Автор», 2008

ISBN 978-1-291-48345-1

Это книга о бароне Унгерне, о казаках и солдатах его трагически знаменитой Азиатской дивизии, о Катерине Терсицкой-Семеновой, аристократической жене атамана Семенова. Разветвленный интересный сюжет, связанный с восточной мистикой смерти – тибетской религией бон-по и ее жрецами. Грохочут выстрелы – а рядом любовь, и ей нипочем ужасы времени и преграды братоубийственной войны... Портрет Унгерна в романе – не вполне документальный, хотя и достаточно убедительный. Казаки, простые жители Урги, правитель Халхи Богдо-гэгэн, русские офицеры – вот подлинные герои этого восточносибирского русского эпоса. Роман впервые опубликован в Праге в 2004 году. Был представлен на Марсельской книжной ярмарке Ассоциацией франко-европейской литературы. На Фестивале русской культуры в Брно в августе 2005-го роман занял первое место в номинации «Литература».

ISBN 978-1-291-48345-1

© Крюкова Е. Н., 2008

© Автор, 2008

Содержание

Пролог	5
Часть первая	9
Запах сандала	9
Восемь ужасных	21
Подглядывающий	42
Ганлин играет	44
Глаза Луны	57
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Елена Крюкова

Тень стрелы

Моему Востоку – навсегда

Моему сыну Николаю Крюкову

Пролог

*У Белой Тары глаза во лбу, на руках
и на ступнях ног, она видит все.*

Из писем Утамаро

Он стоял на холодном степном ветру, сжимая в руке тяжелый браунинг, и глаза его были сумасшедше белы, как у большой рыбы, вытасченной из воды на берег Толы.

– Это заговор! Ты бежал к заговорщикам! Вы намереваетесь убить меня и развалить дивизию!

– Барон, я...

– Я могу тут же пустить тебе пулю в лоб. – Он повыше поднял револьвер. – Но я не просто расстреляю тебя. Я казню тебя так, чтобы другим неповадно было!

Дивизионный адъютант, поручик Константин Ружанский, скрючился перед ним на коленях на сухой, выжженной прошлогодней траве, которую даже верблюды не щипали – так она была невзрачна, суха и грязна, истрепана снегом и ветром. Холодный май стоял в Урге. Холодный май стоял по всей Монголии в этом году.

Он оглянулся вокруг. Белые глаза загорелись нехорошим, фосфорическим светом, вылезли из орбит. Бурдуковский шагнул вперед. Он слишком хорошо знал это приближение бешенства у главнокомандующего. Накатит, тогда – берегись.

– Ты похитил записки, что я написал карандашом, стер мой текст, оставил мои подписи, вписал свои каракули... Ты написал: выдать подателю сего десять тысяч! И Бочкарев тебе дал их, дал! А в другой ты написал, собака: оказывать подателю сего всяческое содействие в командировке в Хайлар... Благодарю Бочкарева – донес на тебя. Тебя поймали вовремя... не запоздав с погоней. А жену твою взяли раньше, чем тебя.

Небритое белоглазое лицо перекошилось. Сипайлов, держа коленопреклоненного адъютанта за шею, понятиливо ухмыльнулся.

– Жена... – Ружанский задержался, Сипайлов больно ударил его ребром ладони по шее. – Где моя жена?!

В юрте, – кивнул головой белоглазый. – Там, в юрте. Ее отдали казакам. И всем, кто... захочет. Давно у мужиков не было такой забавы.

Ружанский повел умалишенными глазами вбок. Прислушался. Из юрты казначея Бочкарева, стоявшей поблизости, доносилось кряхтение и сопение, сдавленные стоны, вскрики. Солдаты, есаулы, казаки выходили из юрты, приглаживая потные волосы и бороды, застегивая на ходу ширинки. Ружанский видел, как в юрту, воровато оглядываясь, зашел поручик Попов, его друг, – поручику недавно ранило руку, и он неловко прижимал ее к себе, перевязанную выпачканным в крови бинтом, как ребенок прижимает куклу. Адъютант закусил губу так, что кровь струйкой потекла по подбородку.

– Господи, Господи, – прошептал еле слышно.

Он утер подбородок ладонью. Белоглазый криво усмехнулся, проблеснули желтые прокуренные звериные зубы.

– Бурдуковский! Тащи бабу сюда. Будем начинать. Сначала пусть баба поглядит, чем заканчивается предательство мужей.

Из юрты выволокли за ноги расхристанную, распатланную, в разорванном в клочья платье молодую женщину. Под солнцем дико, страшно светился белый голый живот, золотом переливались волоски меж раздвинутых окровавленных ног. Грудь вся в синяках, искусана. Вспухший рот полуоткрыт. Женщина была без сознания. За ней волочилась неотцепленная от шпильки, воткнутой в развившиеся светло-золотистые косы, изорванная, вся в крови, белая косынка сестры милосердия.

– Не в разуме? Оживи, Сипайлов, – барон повернулся к помощнику-палачу. – Мне ли тебе объяснять, что надо делать. А ты, Бурдуковский, созови всех! Всех! И всех баб из лазарета – тоже! Чтобы все глядели, чтобы всем было внятно! Чтобы бабы поняли, что такое побег предателей-мужей!

Сипайлов отлучился, быстро вернулся с ковшом холодной воды. Вылил на лежащую на земле. Двинул сапогом ей под ребра. Вода попала женщине в нос и в рот, она задохнулась, закашлялась, с трудом открыла безумные заплывшие глаза.

– Ага, очнулась, стервоза. – Сипайлов поправил на груди оторочку темно-малинового монгольского халата. Так же, как и барон, главнокомандующий, кат-помощник носил не русскую – монгольскую одежду, подчеркивая тем самым свою принадлежность к «высшей касте». – Глазыньки разлепила?! Тогда гляди, Семен! Давай! Тубанов! Эй!

Из-за юрты, позевывая, потягиваясь – сладко спал, еще не проснулся, что ли?.. – вразвалку вышел раскосый бурят Митяй Тубанов. На самом деле его, конечно, не Митяем звали, а как-нибудь по-ихнему, по-бурятски, но он был крещеный, и в дивизии его давно уж Митяем кликали. В руках бурят держал топор и тяжелый молоток, которым пользуются изыскатели, если в горах ищут ценные рудные залежи. Осклабясь, Митяй подошел к разложенному на холодной земле адъютанту. Ружанского, распятого на сухой траве, крепко держали за руки и за ноги Бурдуковский, Сипайлов и позванный на подмогу есаул Азанчеев.

Народ стекался к месту казни. Люди шли угрюмо, понуро, опустив головы. Белоглазый обвел яростным взглядом подавленно молчащую толпу.

– Эй, слушай мою команду! – Надсадный крик сотряс прозрачный сухой воздух. – Всем глядеть! Не отворачиваться! Кто отвернется – сам в того выстрелю!

Он поднял револьвер, потряс им. Избитая, изнасилованная казаками женщина, уже поднятая на ноги, стояла, качалась, поддерживаемая под локти солдатами, бессмысленно смотрела на лежащего на земле мужа.

– Лицом вверх! – хрипло крикнул командующий.

Ружанского перевернули лицом вверх. Он широко раскрыл глаза. В глаза вливалось высокое, прозрачное, холодно-голубое, почти белое, как парное молоко, небо.

– Тубанов! Начинай!

Бурят, положив топор на траву, взял молоток и взмахнул им. Перебил лежащему одно колено. Затем другое. Казнимый страшно закричал. Согнанные в гурт, как овцы, женщины торопливо закрестились.

– Ноги – чтобы не бежал! Руки – чтоб не крал!

Митяй отложил молоток и, поплевав на ладони, поднял с земли топор. Солдат, стоявший ближе всех к палачам, зажмурился, потом широко распахнул глаза. Солдат был без шапки, и его коротко стриженная – недавно обрита была, волосья уж отросли – голова мелко дергалась, дрожала, полногубый рот на бритом лице сжался в ниточку. Чуть раскосые глаза солдата, глядя ненавидяще, вбирали, впивали, запоминали. Тубанов взмахнул топором. Взвился и погас одинокий женский визг.

Белоглазый окинул широким, медленным взглядом притихшую толпу. Распятый на земле уже не кричал – тихо выл, как волк. Отрубленная кисть отлетела к сапогам раскосого солдата.

– Так будет с каждым, кто осмелится бежать из дивизии! Повесить его на вожжах на Китайских воротах!

Распрягли лошадь; она заржала длинно, тоскливо. Отстегнули вожжи. Солнце поднималось над степью все выше, далекие, видные из походного лагеря дома и храмы Урги, призрачные, поднебесные, висели в воздушном мареве. Степь тихо шелестела под холодным ветром бастылами высохшей травы. Ружанского вздернули на вожжах в проеме Китайских ворот – древних, разрушенных каменных ворот Урги, близ которых и разбит был военный лагерь.

Бездыханное тело чуть качалось – его шевелил ветер. Ветер взвивал и светлые волосы на юношеской голове. Адьютант Ружанский был почти мальчишка. Он до войны числился студентом Петроградского политехникума. Женщина с золотыми растрепанными косами, в изорванной одежде, омертвело застывшая внизу, под воротами, его жена Елизавета, окончила Смольный институт с отличием.

Бурдуковский, рослый, грузный, мрачный, огромный медведь, с толстым потным бородатым лицом, тяжело отдуваясь, подшагнул к генералу.

– А зря мы казнили его, цин-ван, – слова излетали из его рта тяжело-звонко, будто гири или медные гильзы, падая меж гнилых, траченных цингой и табаком зубов. – Он ведь знал тайну. Он знал, куда исчезают наши люди. Куда исчез твой любимец Пятаков. Куда исчез Сорочинец. Куда исчез Лукавый. Куда, в конце концов, исчез ненавистный тебе Галчинский. Куда исчез, наконец, Егор Михайлович Медведев. Лощеный петрушка твой. Разлюбезный твой дворянчик. Да у него на морде аршинными буквами написано: я тебе сделаю...

– Замолчи, – медленно выцедил белоглазый, следя, как повешенный раскачивается под ветром, как колокол, на вожжах в проеме ворот. – Егора не трогай. Вызовешь его дух – хуже будет. Ночами спать не даст. Отойди! Сейчас я убью ее.

Он неспешными шагами подошел к золотокозой женщине. Она закинула исцарапанное лицо, шевельнула распухшими губами.

– Ничего не хочешь мне сказать, Лиза?.. – внезапно осевшим голосом, почти беззвучно, так же еле шевеля губами, спросил ее белоглазый. – Совсем ничего?..

Елизавета Ружанская помотала головой. Ее глаза вспыхнули осмысленно. Она собрала силы и плюнула белоглазому в лицо. Плевков не долетел: отдул вбок ветер.

Барон вскинул револьвер. Приставил к ее голой груди. Выстрелил прямо в сердце.

Ганлин играет

Зачем мы все здесь? Кто мы?

Откуда мы... кто мы... И куда мы уйдем...

Мы все уйдем в смерть – вот правдивый ответ.

Мы все уйдем в смерть, и я тоже. Я знаю – есть три непреложных истины: твой Бог, твоя Родина и твоя Смерть. Более в мире нет ничего.

Земля, ложись сухою древней хлебной коркой под мои грязные сапоги. И я пройду по тебе, земля, и я дойду туда, куда не я хочу – куда ведет меня моя звезда.

А кто такая моя звезда? Она не знает заката. «Звезда их не знает заката» – так написано на гербе рода моего.

Нежный шорох: это жемчужная низка струится с шеи незнакомой мне китаянки.

Сухой треск: это стреляют далеко, далеко, и, может быть, сейчас умирают мои солдаты.

Я, барон Роберт Федорович Унгерн фон Штернберг, крещенный во Христа по православному обряду Романом, принявший здесь, на Востоке, в сердце свое великого Будду, как Он

есть, Неизреченный, один из двухсот Будд, прошедших по лику земли за восемнадцать тысяч лет, зачем я здесь?

Чтобы пройти свой путь из конца в конец. Чтобы пройти своим Путем Дао из конца в конец. И, быть может, победить. А может быть, умереть. Смерть – это тоже победа. Я не иду со своей жизнью вровень. Я скачу на коне, опережая ее. Я скачу вперед своего времени, я это знаю. Меня забудут. Потом проклянут. Потом сожгут память имени моего. И сизый дым развеется по степному ветру. Потом вспомнят. Потом полюбят. Потом станут поклоняться мне. Потом убоятся меня. Потом я стану, в мыслях у них, кто придет потом, после меня, Великим Царем; так исполнится пророчество. Пророчество рода моего, рода крестоносцев и миннезингеров; розенкрейцеров и бродяг. Я Великий Бродяга, о Татхагата, о Просветленный. Напиши о том, как пылко я любил Тебя, в Своей будущей Алмазной Сутре.

Да, я здесь, Бурдуковский!

Да, иду.

Казак Фуфачев почистил кобылу мою?!

Голоса пещер. Тот, кого нет

Это будет моя лучшая добыча. Я возрождаю искусство древних мастеров.

Я возрождаю искусство убивать. Убивать – для торжества бессмертия.

Древние умели искусно убивать. Они знали не только всевозможные техники убийства и самоубийства – они знали обряды, благодаря которым отправление на тот свет превращается воистину в священный акт. Нами это искусство утрачено. Что ж, пришла пора все возродить. Врачи оживляют умерших – я оживляю искусство смерти. Вы, кто придет убивать в грядущем, скажете ли мне спасибо за мою науку?

Я давно положил на него глаз. Я люблюсь тем, как он вскакивает на коня. Я восхищен тем, как развеваются за лошадиным лоснящимся крупом полы его ярко-желтой княжеской курмы. Цин-ван – так он велит именовать себя, «князь небес». Для полноты моей Священной Картины, для последнего мазка на сверкающей Фреске Смерти мне не хватает цин-вана. И я его получу. Получу – потому что там, в моей священной пещере, близ реки, уже есть шесть священных покойников. Я украсил их золотом Орхона. Один уже начал превращаться в скелет. Чтобы отбить плохой запах, я покрыл священные тела закрепляющей смесью, изготовленной старухой Цинь по древнему рецепту из смолы кедра, вываренных рыбьих костей и травы «верблюжий хвост». Под смоляным слоем тело кукожится, ссыхается; превращается в смоляной, в вечный скелет.

Скелет – это не смерть; это перерождение, это начало новой жизни.

Я не работаю для минуты. Я тружусь для вечности.

Я дам новую жизнь тем, кого я люблю и избираю.

Это дикое время – мое благо. Оно дано мне для того, чтобы я мог убивать безнаказанно, препровождая в Мир Иной лучших людей.

Он будет моей лучшей добычей.

Он – и Она.

Она – и Он.

Сначала Она. Потом Он.

Почему сначала – Она?

Потому что я люблю Ее.

Часть первая Степь

Запах сандала

Будда имеет право быть слепым.
Богдо-гэгэн

Он изогнул надменные губы, и его лицо стало еще жестче. Стало почти железным. Мороз щипал щеки. Мороз сделал его смуглоту густо-румяной.

В детстве мать говорила ему: ты похож на девочку. Она наряжала его в кружевные платья, в кружевные шелковые панталончики, обнимала-тетешкала, покрывала поцелуями, смеялась: ах ты мой ангелочек! Он молчал, дулся. Он знал: он никакой не ангелочек. Он вырастет и станет воином.

Он вырос и стал воином. На чьей стороне ты воюешь, Ангелочек?

Он поднял руку, постучал и сунул руку в карман. Пальцы ощупали в кармане холодный револьвер.

Тишина. Какая в этом городе осенью, а особенно зимой, треклятая тишина. Такая тишина стоит в тайге, в пустыне.

Хочется ворваться в храм и запустить камнем в бронзовую, покрытую сусальным золотом статую Будды-Очирдара. Пусть Очирдар зазвенит, загудит угрюмо. Заплачет. Будда был воин, а воины... не плакали?..

Ветер. Ветер-волк. Он кусает и воет. Какие пронизывающие дикие ветра в этом безумном городе.

Проклятье. У входной двери нет звонка. Ни веревки, ни кнопки. Жесткие костяшки пальцев выстучали еще раз условный стук. Он натянул шерстяную перчатку на заолодавшую на ветру руку. Помял пальцы, пошевелил ими. В глубине коридора раздались неторопливые, размеренные, как удары метронома, шаги. К двери шли в хорошо подкованных сапогах, и каблуки стучали по гладким крашеным половицам. Голос из-за двери хрипло, скорее тенорком, чем баритоном, спросил: «Доктор Чан?» Он, потирая щеку колючей перчаткой, усмехнулся уже явно, в открытую, и чисто-белые зубы блеснули ножевой молнией на смуглом лице.

– Юньнаньский чай с жасмином из лавки Агапия Лыкова, как вы заказывали. – «Они думают, это очень остроумный пароль, идиоты». – Не заставляйте ждать посыльного, мальчик замерзнет.

Замок затарахтел. Закряхтел другой. Залязгал третий. Тот, кто здесь жил, опасно закрывался на сто замков.

Он усмехнулся еле заметно: глупый страх. Глупый страх в наше безумно-страшное время, когда тебя могут умно убить в любую минуту, в любой миг. Из-за угла. Из окна авто. Нагло, в лоб, в упор. Дверь распахнулась наконец, и прямо с порога ему улыбнулся высокий дородный господин с большими залысинами, белевшими, как голубиные крылья, над морщинистым лбом. На лбу господина, прямо над маслено-потными залысинами, отчего-то непонятно отвратительными ему, торчало вздернутое пенсне в золотой оправе.

– Доброго здоровья, дорогой Егор Мих... простите, Александр Иванович. Все никак не могу привыкнуть.

– Ну, проходите, проходите скорей, Иуда, что вы топчетесь? За вами нету «хвоста»?

– Кажется, нет.

– Если кажется – креститься надо, любезный. Так кажется или точно нет?

– Не нервничайте так, – бросил он, входя в тесную прихожую и отряхивая жесткую, как пшено, снеговую крупку с бобрового воротника и манжет, – выпейте лучше капелек сердечных, милейший.

Обмен любезностями, как всегда. Перемигивания, как всегда. «Мальчик-посыльный» из лавки Лыкова, хм. И отчего это он не догадался прихватить с собою жестяную коробку настоящего тибетского чая с жасмином и бергамотом? Однако в гостиной, на столе, неумело накрытом к позднему ужину холостяцкой рукой, уже дымился самовар с крупными баташовскими клеймами во весь латунно поблескивающий бок, и пахло чаем с апельсиновыми корками – тем, который он так любил там... давно... еще в Петербурге.

– С жасмином нет, но зато «Сэр Липтон» имеется. Сам заварил, не обессудьте меня, драгоценный Иуда Михайлович.

Он сел. Откинулся на спинку кресла. Тепло гостиной после колючего ветра, насквозь продувавшего молчаливый город, обняло его плечи, щеки, колени и ступни; будто любящая и заботливая женщина укутала его пушистым ирландским плэдом. Он прищурился и стал неуловимо похож на хищного степного лиса, мышкующего по первопутку. Тот, кого он назвал Александром Ивановичем, хозяин дома, изучающе глядел на него, потом неуклюже боднул головой, и пенсне слетело со лба на длинный нос, сверкнув стеклами и позолотой.

– Ну что, Иудушка?.. Наши дела продвигаются? Есть ли вести из Пекина? От Криса Грегори?.. – Господин в пенсне протянул руку к самовару, подставил чашку под краник, осторожно отвернул медную ручку в виде трехлепестковой французской лилии. Полилась тонкая, витая, серебряная струя кипятка. – По-прежнему ли мистер Грегори так предан нашему дьявольному генералу, как он это утверждал год назад? За год много воды утекло, Иуда. И в Китае. И в Америке. И в сумасшедшей Совдепии тоже.

– Наши дела? – Он смерил его, сидящего за столом и разливающего чай в аккуратные фарфоровые расписные чашечки, ледяным и понимающим взглядом. – Наши дела идут как нельзя лучше, дорогой Александр Иванович. Мне кажется, Семенов затеивает уйти от генерала. Он хочет играть свою игру. И, мне думается, он может даже отважиться на отдельный поход на Читу... или даже на Иркутск.

– Чтобы взять полоумный реванш за Колчака?.. И перебить толпу народу, ополовинив Азиатскую дивизию?.. Дайте чаю.

Господин с залысынами протянул ему дымящуюся чашку. Он взял чашку и поморщился – ожег себе пальцы.

– Чтобы самому попытать счастья, при чем тут бедный адмирал?.. Мир его праху, святой был человек. – Он перекрестился. Отхлебнул чаю. Положил на зуб кусочек колотого сахара из берестяной сахарницы. – Или...

– Или чтобы непринужденно и изящно перекинуться на сторону красных со всеми потрохами, пардон, с пошедшим за ним войском.

– Ценой собственной жизни?..

– Вы думаете, красные расстреляют атамана, как собаку?.. О нет, вы ошибаетесь, милейший. Красные никогда не расстреляют Семенова. Такой тьмой дармового боевого народу и их предводителем не бросаются в наши времена так просто. Напротив, они его облащают. И перелицуют. Если портной хороший, перелицованное пальтецо очень даже смотрится. Вы разве не знаете, сколько у большевиков красных генералов, вчера бывших белыми офицерами и Георгиевскими кавалерами?.. Нет?..

– Знаю.

– А мы-то сами в этой игре – кто?.. Это вы знаете?..

Тот, кого назвали Александром Ивановичем, зачерпнул серебряной ложечкой с витой длинной ручкой темно-синее варенье из розетки в виде цветка лотоса. Отправил в рот. Ах, ах, как вкусно. Блаженно, как кот, прижмурился.

– Жимолостевое варенье, очень рекомендую, любезнейший. Пища богов. Варвара Дмитриевна из Иркутска две баночки привезла в подарок, Господь ее храни.

– А не Машка?..

– Машку-то за какую надобность мне в Иркутск, за столько верст, гонять? Без паспорта ее туда никак не переправишь, а паспорт делать так, чтоб комар носу не подточил, – дело хлопотливое. Пусть здесь ошивается.

– Под боком у мужика.

– У нужного мужика, – весело поправил его хозяин и поддел еще варенья ложечкой. – Да вы ешьте, угощайтесь, не стесняйтесь! Печенье свежее, от Гомбо Домбаева... Бутербродик вот с икорочкой паюсной...

– Александр Иваныч, – он вскинул лицо, и узкие, широко стоящие глаза на смуглом лице, похожие на черные спелые черешни, как плетью ударили по спокойному, по-поросычьи зорозовевшему от горячего чая лицу собеседника. – К черту бутербродики. Когда будем решаться? Сегодня? Завтра? Через год? Через сто, черт побери, лет?! Когда?!

– А вам не терпится? – Хозяин невозмутимо вылил чай из чашки в блюдечко, по-купечески поднял блюдце на широко растопыренных пальцах, поднес к губам, подул, шумно втянул в себя чай. – Вы хотите это сделать до взятия им Урги?

– А он будет брать Ургу?

– А как вам кажется?

Темно-синие ягоды варенья. Длинные, как дамские пальцы, как дамские пахитоски, как чертовы дамские губные карандаши, сладкие ягоды. Жимолость, лакомство медведей. Где она таится-зреет?.. В тайге?.. Ему вдруг, до жадного подсасывания под ложечкой, захотелось варенья из кислого китайского лимонника. Из душистого амурского лимонника, он так любил глядеть, как он растет в гущине таежного бурелома, как свешиваются с ветвей его мелкие рубиновые ягоды, похожие на капли крови.

– Мне ничего не кажется, – сказал тот, кого называли Иудой, неотрывно глядя на мерцающее в розетке сине-лиловое, почти черное, как деготь, варенье, словно это был яд; сказал очень холодно, очень тихо и очень отчетливо. – К атаману скоро жена из Совдепии приезжает. Аж из самого Петрограда. Если кажется, надо креститься, разве не так?

* * *

Она всегда ненавидела езду в кибитке. В повозке. В конке. В поезде. В авто.

Она всегда любила скакать на коне.

О, ее обучали ездить верхом долго и основательно; она знала много способов, как умело повернуть лошадь, как понукать ее, направить, как заставить ее сделать утонченное, почти танцевальное па, как взять с ней преграду, как пустить ее в галоп, рысью, аллюром; она каталась на иноходцах, на чалых и игрневых орловских конях, под ней гарцевали и арабские белые лошадки, и ахалтекинки – лошади были ее страстью, ее неистойвой, великой страстью, а на железной дороге, в душном вагоне, в купе с кружевными занавесочками, в повозке, в кибитке, в телеге, где нещадно трясло то по камням мостовой, то по рытвинам-ухабам проселочной размытой дождями дороги, ее так укачивало, что... – берегись, попутчики!.. – тошнота подкапывала к горлу, и она, прижимая платочек с вензелями инициалов: «ЕТ» – ко рту, опрометью выбегала из купе в ватерклозет либо слезно просила остановить экипаж. Открылась эра авто, и в авто она ездить ненавидела. Ну ненавидела она проклятые автомобили, и все тут!

Она обожала ездить верхом. Скакать на лошади. Подставлять лицо ветру. И чтобы волосы развевались за спиной. О, на коне ее нисколько не укачивало! Конь был ее продолжением, горел и страстно двигался под ней. Она была продолжением коня.

Возможно, это напоминало ей любовь.

– Катичка, тебе дурно?.. Крикну Филиппу, чтоб стал?..

– Нет, Триша, не надо... Справлюсь...

– Да что ж справиться-то, что ж мучиться, – сердито пробормотал казачий атаман Трифон Семенов, оглядывая жену беспокойными глазами из-под кустистых седых бровей, – надо делать как лучше. Эй! Филька! Стой!

Лохматый казак, ухватистый возница, зашлепал губами: «Тпру-у-у-фу!.. залетный!.. Стой!..» – и кони стали как вкопанные. Атаман открыл дверцу кибитки. Свежий ветер ворвался внутрь тесной повозки, и Катерина раздула ноздри, впивая впервые во всей полноте услышанный, учуянный запах степи. И, отталкивая мужа, перегнувшись через его мощные мосластые колени, легши грудью и животом на пахнувшие потом, ружейным маслом и конским навозом, в пятнах засохшей крови, давно не стиранные штаны с лампасами, высунулась из кибитки – и увидела степь.

Она увидела перед собой степь, и у нее захватило дух. Столько воли! Столько света! Столько бесконечной земли во все стороны осеннего неба... и, Господи, столько тоски...

У нее стеснилось сердце. Она глубоко вздохнула и чуть не заплакала. Зачем она из родного, строго-нарядного, аристократически-цивилизованного Петербурга, ставшего красным Петроградом, приехала сюда, в этот дикий полынный простор? Сюда, на край света, в Монголию? Здесь служил ее муж, Трифон Семенов, сначала в Даурской, потом в Азиатской дивизии у знаменитого генерала, барона Унгерн-Штернберга. И она ехала к нему, как сто лет назад ехали дворянские жены к осужденным мужьям, сюда, в Восточную Сибирь; ехала до Иркутска, потом, обогнув Байкал, по Читинскому тракту – до крепости Улан-Удэ, потом, через Кяхту – сюда, в Ургу... Поезда, идущие на Восток по Транссибирской железной дороге, то обстреливают, то проверяют беспощадно... А у нее с собой даже револьвера нет – какой ей, ни разу в жизни не зарезавшей для стряпни курицу и не выстрелившей на утиной охоте в тяжело взлетающую над озером утку, револьвер... «Куда направляетесь, барышня?.. Вид-то у вас больно из этих... из господских... знатное личико... Куд-да через всю Расею чешешь, стер-р-рва?..» – «К родным... в Иркутск...» В Иркутске она говорила – к родне в Улан-Удэ. До Кяхты взяла за бесценку лошадей, меняла их на уртонах. До Урги добралась на попутном авто. Монгол, подвозивший ее, хорошо говорил по-русски. «Ой, барышня, мы все еще под гаминами, и ваш Цаган-Бурхан, бог войны, ходят слухи, собирается брать столицу нашу... Будда ему поможет... и ваш Христос ему в помощь...» Она поняла – монгол говорил об Унгерне. Как остро, горько пахнет полынью...

– Мне уже хорошо, Тришенька. Вели кучеру трогать.

– Это ж не кучер, ха, Каточек, это ж мой подначальный казак!.. Гони, Филька, авось к вечеру прибудем в лагерь!..

Катя, усевшись на потертое, обтянутое свиной кожей сиденье кибитки, смотрела на Семенова, как на чужого человека. Он отвернулся от нее, а рука его крепко стискивала ее руку, лежавшую на коленях. Пристально, сощутив глаза, он глядел в запыленное окно, следя полет ястреба над степью, низко и далеко, и Катя, слабым пожатием отвечая на пожатие мужниной руки, внезапно вспомнила, как они познакомились. На блестящем балу, в Петербурге... в Таврическом дворце... весь свет офицерства... и сухопутного и морского... кажется, там был и великолепный адмирал Колчак, и с ним танцевала фиалкоглазая, темноволосая молодая дама, неуловимо похожая на японку... кто?.. ах да, ей же сказали ее имя, она запомнила, Анна Сафонова... дочь директора Консерватории... жена генерала Тимирева... Колчак объявил себя Верховным Правителем России... Колчака расстреляли в Иркутске. Она недавно

узнала об этом. Выстрелы, смерть. Как они все привыкли к ним. Свистят пули, ну и что? При-терпелись. Попривыкали. А препротивный у них свист. Будто металлический прут рассекает воздух.

Когда слышишь этот свист – хочется сойти с ума.

Она поехала, покачиваясь в тряской кибитке, плотнее запахиваясь в драповое легкое пальто от Жислена: теперь все объявляют себя верховными правителями... все хотят Россию спасти?... дудки, хотят просто овладеть ею... как бабой... вот и этот мужнин барон... Унгерн, что ли?... Да, Унгерн... Из немцев, верно... С Тимиревой тогда, под ледяным блеском огромных люстр, танцевал адмирал Колчак, а к ней подошел, сдвинув сапоги со шпорами, рослый боро-датый казак, в полном казачьем облачении: в погонах, при орденах, при сабле, и борода у него вилась крупными кольцами. От казака исходила победительная мужская сила. Он был совсем не красив, даже уродлив: кривые, ухватом, от постоянного сидения в седле, ноги, необъятная грудь, лысеющая голова, – но полные вкусные губы, царственно-пышная борода и пронзи-тельные глаза под нарочито нахмуренными бровями заставляли сильнее биться нежные сердца; дамы на балу, вальсируя, оглядывались на него. И то, теперь в России пошла мода, с легкой руки царицы Александры Федоровны, на мужиковство, на распутинщину. Этот хорунжий, в котором угадывались замашки командира, крепко подхватил ее за талию – и повлек, повлек за собой, да так и увлек: из танца – в опасную жизнь.

Трифон Семенов оказался на петербургском балу неслучайно – он был тогда, в ноябре 1914 года, представлен к награде: когда прусские уланы захватили знамя Нерчинского полка, в котором он служил, Семенов, возвращавшийся с казаками из разведки, натолкнулся на улан и отбил у них полковой штандарт. Ему пожаловали Георгиевский крест. Катя, танцую, не сво-дила с почетной награды глаз. Шутка ли, она, девчонка, танцует с героем! Катиньке Терсицкой едва сравнялось шестнадцать. Грудь у нее уже была высокая, наливная. Большие карие глаза под тонкими, соболино-лосьнящимися бровями играли в контраст с пшенично-золотистыми волосами, их Катя заплетала в косы и укладывала на затылке корзиночкой. Это придавало ей вид гимназистки. Она танцевала в Таврическом дворце не с графом, не с князем – с казаком, мужиком, родом из большой сибирской староверской семьи. Семеновы, «семейские», как все староверы, жили обособленно, сурово и молчаливо – «не тронь меня!» – около пристани Под-тесово на Енисее. Когда Трифону исполнилось три года, семья вдруг поднялась с места, пере-бралась южнее, в забайкальскую станицу Дурулгуевскую, в Куранжинский караул на левом берегу Онона. В семье было девять детей, и у всех были старорусские, дико-забытые, а то и царственно-библейские имена: Мелхиседек, Нафанаил, Ровоам, Елпидифор... Все были маль-чики, одна лишь сестренка народилась – Агафья. Двух младших назвали покороче, попроще – одного Трифон, а поскребыша – Иуда. «Угораздило именем предателя назвать отрока, – пожи-мал широченными плечами Трифон, – да ведь братец-то, душенька моя, и не особенно-то стра-дает, я тебе скажу!...» Все детишки Семеновы, помимо русского, знали бурятский, свободно болтали по-монгольски. Араты были их друзьями. Трифон участвовал в монгольском священ-ном празднике Цам, переодевался там белобородым Ульгеном, паялил на себя оскаленную, с торчащими клыками, расписанную синей и алой краской маску чудовища Жамсарана. Агаша в пять лет ездила на верблюдах, удобно умащиваясь между мохнатыми горбами. Иуда рано стал сбегать из дому, пропадать то в тайге, то на реке, то исчезал в горы – в саянские гольцы, на Мунку-Сардык – с залетными охотниками. Его месяцами не бывало дома, а возвращался он с добычей, обвешанный шкурками соболей и белок, с туесами и коробами ягод – рубиновой брусники, темно-лиловой кисло-сладкой жимолости.

Катя знала, что Иуда Семенов был охотничьим, потом экспедиционным проводником сначала в Саянах, потом близ Кяхты, на границе, потом перебрался в Монголию. По слухам, подвизался шерпом в Тибете, чуть не свалился в пропасть, чудом выжил, перенесся в горах, в легкой одежде, лютый мороз, но смутных слухов никто не проверял, а Иудушка молчал. А

Трифону было недосуг, в чужую жизнь он не совался, у Трифона были свои дела – он был рожден для того, чтобы воевать. Воевать – и больше ничего.

После пышной свадьбы в Петербурге, после множества раскупоренных серебристых бутылок самолучшего сладкого шампанского («ах, горько, горько, молодые!.. ах, что за дивная экзотика, вы слышали, барышни, Катишь-то наша учудила, вышла замуж за казачьего атамана!.. урод, правда, но ка-акой мужчина!..») в богатейших ресторанах столицы – папаша Терсицкий не поскупился: торжество так торжество, единственная дочь один раз выходит замуж! – из ресторана в ресторан – на тройках, и невский ветер в лицо!.. – молодые уехали в свадебное путешествие в Париж. Катя была богата. Очень богата. Да и ее франтоватый казак отнюдь не жаловался на отсутствие денег. На сделанный им щедрый свадебный подарок: пасхальное золотое, огромное, с жемчугами и изумрудами, яйцо, заказанное у самого Фаберже, приезжала любоваться вся петербургская знать. «Вы слышали, Фаберже согласился взять заказ у этого, фи, казака!.. – Ах, голубушка, да ведь это все сделано через ту иркутскую купчиху, ну, вы знаете, через Варвару Дмитриевну Охлопкову, этот сибирский медведь, говорят, был ее... – Шепот на ухо. Вздох. – А месье Фаберже, вы же знаете, ну просто без ума от Varbe!..»

Да, Катя была богата, и в Париже они тратили деньги широко, со вкусом, весело, вольготно, на изысканные удовольствия, на красивые вещи, на самое лучшее, марочное, коллекционное вино – Семенов поил Катю разномастными французскими винами, она хохотала, пила и не пьянела, а потом все-таки пьянела, и Трифон нес ее на руках в карету. И они тряслись по парижским мостовым, и мимо них летели Сакре-Кер и Мулен-Руж, аббатство Сен-Дени и Сен-Жермен-де-Пре, улица Риволи и Пантеон, и эта чудовищная, дикая башня из железных конструкций, которую все-таки поставил в сердце прелестного Парижа, совсем обнаглел, этот зануда-бош Эйфель. И Трифон целовал ее, пьяную и хохочущую, в карете, и Катя сама себе казалась героиней французского романа, девицей Манон, гризеткой Нинон...

Над Парижем сияло яркое солнце. Над Парижем маревом стояла жара. Шло лето семнадцатого года. Уже было всем понятно, что Россия не одержит никакой победы в этой глупой, жестокой войне, хотя победа была нужна и Царю, и стране. Кое-кому в России победа в этой войне нипочем нужна не была.

Они колесили по Парижу в пролетках, в экипажах, в новомодных авто, беспрестанно целовались, Катя смеялась медвежьей, сибирской грубости мужа в уличных кафе, когда он ворчал на гарсона: «Что это тут у вас, французята проклятые, какие-то червяки, улитки какие-то с лимонным соком подаются?!.. мусор это, в корзину вывалить!..» – «Ах, Тришенька, да ведь это же средиземноморские устрицы, ха-ха-ха!..» – а время шло и проходило, и кончался отпуск Семенова, и надо было возвращаться в полк, в Россию, а потом опять ехать на войну, – и все равно казалось: все еще впереди.

Впереди был обвал.

С небес грянуло, а изнутри расколосось.

– Тебе не холодно, Катя?.. Плэд на ноги не накинуть?..

– Накинь, Триша... сделай милость...

Обвал, обвал. Грохот грузного обвала юного века, навек оставшийся в ушах. Надо было нынче не жить – выживать. Катя запомнила очереди за хлебом в Петрограде, холода зимой – печку-буржуйку топили не дровами – роскошными книгами из отцовской библиотеки. Семенов уехал в Сибирь. В докладной записке на имя Керенского он обозначил, что хотел бы сформировать у себя на родине отдельный конный монголо-бурятский полк, с целью «пробудить в душе русского солдата порыв – почему инородцы сражаются за правое русское дело, что ж я, русский, буду в стороне?» В Сибири он занялся такими делами, которые не могли присниться в самом страшном, диковинном сне его молодой жене.

Кибитку трясет... Можно дремать, думать... Или не думать совсем... Она согрелась, уже не подкатывала к горлу тошнота.

Она слушала стук копыт по дороге, твердой как кость, сухой. Боже, как же она далеко от Петрограда! Внезапно когтем царапнула мысль: а вернется ли она когда-нибудь? Отогнать детский страх. Погрузиться в сон. В сон... копыта стучат... Филипп покрикивает на лошадей: н-но!.. н-но-о-о...

– Катя! Вылезай! Все слава Богу! Прибыли!

Чувствуя, как глупое сердце колотится где-то у горла, Катя, путаясь в шелковой юбке, от лучшей питерской портнихи мадам Цыбульской, вылезла из кибитки, чуть не подвернув ногу на чугунной лесенке, и обвела взглядом пространство.

Повсюду, куда она ни смотрела, везде были юрты.

Юрты возвышались и горбились. Юрты топорщились и принимали к земле. Юрты, из высохших и плотно сшитых шкур животных, из шкур коровьих, конских, медвежьих, волчьих, овечьих, верблюжьих, ползли, расплзались по степи, и низкое солнце подергивалось в небе странным темным маревом, будто стекло – сажей, копотью; и в воздухе было так звонко и сухо, что от сухоты слиплись в судорожном вдохе ноздри. Ей показалось – военный лагерь необъятен, так много было юрт вокруг.

– Ишь, кого привез! Ну да, тебя-то тут как раз и ждали. Заждались, исстрадались.

Катя вздрогнула и обернулась. Прямо перед ней, у кибитки, освещенная закатным солнцем, стояла, прислонив ладонь ко лбу, разбитная, одетая в странный – не то мужской, не то женский костюм: сапоги и штаны, а поверх серая холщовая юбка до колен, мужской армяк, а из-под армяка кружевная кофтенка торчит – с грубо нарумяненными щеками и подведенными красным карандашом губами, широкоскулая огнеглазая баба. Баба нагло ощупала быстрыми глазами Катю с головы до ног и оценивающе выдохнула:

– Что ж, хвалю Трифона. Вкус у него есть. Наслышана про тебя была изрядно. Что стала как пень! Валяй в дом!

Баба с подмалеванными щеками указала на юрту. Катя вскинула брови. Растерянно поправила дрожащими пальцами корзиночку золотых кос на затылке. Смятенно подумала: кто такая?..

– А где... дом?..

– Вот дом, дура, – грубо, насмешливо бросила покрашенная, как будто охлестнула Катерину плетью поперек спины. – Походный дом у тебя теперь! Входи! Монгольским богам не забудьте с Тришкой хлеба да вина через плечо бросить...

Боль просверкнула лезвием в ее зазвеневшем голосе. Катя попяtilась. «С Тришкой»?! Это с ее... Трифоном?!

– Что пяtilишься?.. красotka кабаре, – выцедила баба и нагло сплюнула. – Машка я, походная я жена твоего золотого Трифона Михалыча! А ты – столичная! Ты, знаю про тебя все... – Машка вытянула к ней руку с заметно трясущимися, как у пьяницы, пальцами. – Богачка... дочь золотого царька... дочка Терсицкого... на золоте ела, на золоте пила, лилия, да все, видишь, как кончились чохом золотые времена-то!..

Катя не грохнулась в кисейный обморок, не закатила истерику. Она наклонилась, отогнула полог и спокойно вошла в юрту. В юрте, скрючив ноги, поджав их под себя, уже сидел Семенов, хохотал беззвучно. Не хохотал – скалился. И она ужаснулась. Таким он предстал ей впервые.

И, глядя на него, она поняла: она попала в иной мир. В иную жизнь.

С проклятой революцией, с дикой войной, где русские убивали русских, кончился, умер и тот человек, тот brave казак Триша Семенов, которого она полюбила, с которым ела ванильное мороженое и пила божоле и «Перно» на верандах уличных парижских cafe. Она смотрела на Трифона как на покойника. И он смотрел на нее. И глаза его были похожи на лезвия ножей. И зрачки – на острия. Незнакомая ей, железно-костяная жестокость глядела на нее из мужских глаз. Преодолевая страх, она улыбнулась.

– Эка тебя Машка любезно встретила, – хохотнул он и оборвал смех. Хлопнул ладонью по верблюжьей шкуре рядом с собой. От шкуры исходил кровавой, терпкий запах – скотину недавно освежевали, шкура не успела хорошенько просохнуть на осеннем тусклом солнце. – Садись, Каточек. И прости меня. Я мужик. Я не мог столько времени без тебя. Ты-то не посчитала, сколь мы в разлуке с тобой были?.. А?..

– Полтора года... два?.. – вздернула соболиные брови Катя.

«Целую жизнь. Целую жизнь мы были в разлуке. И целая жизнь прошла у него здесь. И я не должна на нее посягать», – толчками билась в ней, делала ей больно упрямая кровь.

Голоса казаков. Осип Фуфачев

– Эгей, Оська!.. Когда на Ургу-то пойдем?.. Когда морозы, што ль, грянут?..

– Да ить медлит командир – значитца, каво-то кумекат!.. Не понять, каво желает!.. Уж и вся картинка-то, как на ладони, перед ним... Да эти китайцы, гамины проклятые, небось, каку хитрость выдумали, котора не даст нам, грешным, завтра ж на ту гору, на Богдо-ул, забраться!..

– Заберемся. Как пить дать, заберемся. Дай срок. Што тут мы, зря восседам?.. мясо жрем... Командир замучился мяско-то нам добывать... А без мясца да без кулеша солдат не попрыгат в бой, это ж ясно как день...

Да, нам, казакам, без мясца-то никуда. Мужуку вообще без мясного ества невозможно. Шти мясные бы понюхать... ну, Марья Зверева, повариха наша, знатно умеет шти варить, вот Митяй Тубанов с Ташуром в степь поедут, у аратов мясца купят, привезут, Марью на могутную стряпню запряжем. Начальство-то меня, Осипа Фуфачева, Ефимова сына, отчего-то жалует. Хоть я особенно, отметить надо, и не выслуживаюсь. Я – казак Забайкальского Войска, степового Войска, хоть и молод, а в переделках побывал, знаю, фунт лиха почем. Курточка моя короткая пообтерхана, это верно, и шаровары подштопаны уж во множестве потайных мест; друг мой, Федор Крюков, что Книгу Жизни по-церковному пишет вечерами в палатке, смеется, когда я шаровары штопаю, покатывается со смеху: тебе, говорит, Фуфачев, эти порты надо будет, после Унгерна нашего походов, когда мир да благодать воцарятся по всей родимой земле и мы Императора вернем, слава те Господи, законного, Михаила Александрыча, – вывести, понимаешь, на стене избы, заместо иконы, лубочной ли картинки... или там мандалы. Штоб, значитца, детки и внуки созерцали, в каких шибких лишениях обретался в монгольском походе ихний прародитель.

А почетно быть прародителем, зачинателем рода... А род-то Фуфачевых старый, сибирский, хоть и не из Забайкалья я, а из Красноярской губернии, из сельца Бахты, что на Енисее, чуть повыше Ворогова... осетров у нас там в Енисее, чира, кунжи – тьма... рыбы – страсть... не сетью лови – сапогом... А осетры такие живут, что хоть один на один с ними бороться выходи, ну совсем звери библейские, Левиафаны... Как я к Унгерну прибился?.. А и сам не знаю. Все взбулгачилось в Расее. Все – кверху дном встопорщилось. Бьют да рушат, бьют да рушат... Сибирь-матушка дыбом вздыбилась... Эх ты, гляди-ка, а вниманья ведь не обращал, – и кушак у меня сохранился от моего Забайкальского войска, справный таковой, цветной кушак!.. Ту же затянуть... под ребрами худ стал... да, нету тут, в Монголии, ни мясца вдоволь, ни молока нашего бравого сибирского, от рыжих коровушек, ни тебе копченых енисейских осетров, как бревна, толстых...

А то недавно Микола Рыбаков пытался выклянчить у меня шапку. Покушался. Тебе, бает, она все одно не к лицу. Не к роже твоей, ну и все тут! Не-ет, шалишь, гляньте-ка, до чего моя шапка хороша. Шапка казака – это гордость его, издаля шапку-то в степи видать. Чисто фонарь. Войско скачет – шапки горят как солнышки – ясно, казаки скачут. Эх, в доброе Царское времечко так оно и было... Ярко-синяя бархатная шапка, отороченная седым кудрявым бараньим мехом... Ее, шапку эту, еще мой отец носил – не износил, казак Ефим Фуфачев, а

до него – мой дед, казак Елизар Фуфачев, а до него – мой прадед, казак красноярский Еремей Фуфачев, а до него – еще мой прапрадед ее таскал на темечке, казак Иннокентий Фуфачев, Кешка-разбойник, бешеным нравом славился... И то правда, красноярские казаки – самые горячие, бешеные, с огоньком, как норовистые кони, и самые, между прочим, пьяницы. Любят, любят водочку, особливо с осетром, крупно порезанным, либо с жирным чиром, чья спинка трясется, что твой студень. Да пучком черемши закусить, да моченой брусничкой заесть-зажевать. Ух-х-х! А тут...

Унгерн нас просто в дивизию набирал. Все летело-рушилось к чертям-бесам, мы за Расею погибшую воевать желали, горло перегрызть красным собакам. «В Бога веруешь?» – «Верую». – «Большаков пойдешь с нами бить?» – «Пойду, вашбродь!..» Эх, эх... Много нас тут у него, у барона, казаков из всех степовых Войск, набралось-прибилось: и с Уральского, и с Семиреченского, и с Сибирского, и с Амурского, и с Уссурийского, – а уж я, забайкалец, своих друзей тут обнаружил, вот Миколу Рыбакова, к примеру... Хорошо еще, Унгерн ни за что такое негожее на нас не осердился. Других казаков, чуть что, ослушаются либо несправедное вытворят, – ух, наказывает... страшно наказывает... И то, может, правда. Иначе – распустится оголтелый народ. Чужая страна... все лопочут по-своему... Будде ихнему бронзовому, зеленому, как лягушка, свято поклоняются... Баб у казаков давно не водилось, ежели, конечно, женатых в счет не брать, тех, кто за собой баб таскает по всей Сибири, по Бурятии да по тутошним степям... Кажись, Унгерн баб будет вскорости в шею гнать. Он сурьезно настроен. Как выгарцует на своей белой кобыле Машке перед войском всем, ка-ак крикнет: «Солдаты! Помните завет! Вы освобождаете великую, славную Азию, землю будущего великого Царства, от нечисти, от грязи и отбросов людских! Взяв Ургу, возьмем и Пекин! Взяв Пекин – двинемся на Запад! Большевики уже почти сломлены! Надо только потверже наступить на хребет врага, и он хрустнет, переломится! А взяв Иркутск, Омск, Екатеринбург и Москву, пойдём и на Питер!» На Питер, вишь ты, на Питер... Ишь куда замахнулся... через всю земельку нашу расейскую – походом... «И армия наша будет уже огромна, бессчетна! – так нам орал, верхом сидючи. – Бесконечна будет волна гнева, что захлестнет и смочет с лика Родины черную гадость! А возвернув Питеру и всей России законного Царя – повернем с вами, солдаты, обратно в Азию, и пойдём на Тибет! В страну великой Шамбалы! Чтобы взять руками и губами свет, чтобы понять, что есть воистину Святое!» И мы все стоим и командиру в рот глядим, как он блажит, лицо красное становится, глаза белые, как у осетра, когда его багром по башке тятнешь, – но заворачивают его крики, и веришь, веришь ему, колдуну белоглазому. И что Питер возьмем, и что Шамбалу въявь увидим...

А каво такое та Шамбала?.. Неведомо. Слыхивал много. Старик Еремин бает: то земля счастья. Там якобы реки белые текут. Молочные, кумекаю?.. Может, белый мед?.. Да, мед, кивает Еремин, сладкие, я, бает, пробовал, лапу окунал, облизывал, как медведь... Брешешь, я ему!.. Не бывал ты там, в Беловодье, и руки своей в Белую реку, в Медовую, не окунал!.. А он мне: глупый ты исчо, Оська Фуфачев, ни петушьего пера не смыслишь в жизни. Эта река, сладкая, медовая, – река бессмертия. Ты из нее ежели отопьешь – тебя ни одна пуля в бою не уцепит, как заговоренный будешь. А каво, наш командир, што ль, тоже заговоренный?.. – я его пытаю. Когда бой завяжется – пули кругом свистят, а барон наш хоть бы хны, скачет, прямой как палка, и даже к холке коня не пригнется, лик бешеный, глаза вытарашены, на устах улыбка страшная, инда в дрожь бросает, – а пули вокруг него, как пчелы, жужжат, да и вся недолга!.. – а ни одна в телеса не вопьется... «Ну да, конечно, он из той реки тоже попил», – важно так Еремин мне в ответ. А ты, пытаю, ты-то, Михайло Павлыч, ты-то тоже, никак, оттель волшебного медка испил?.. И подмигиваю. И он мне ответно рожу кривит, веселится. «Да, – чешет как по-писаному, – испил, иначе меня уж давно бы, еще под Кяхтой, либо под Улясутаем, либо на маньчжурской границе, либо еще где – а насмерть грохнуло. А так – вот он я. Цел-невредим...» И уж хохочет, в голос ржет, как коняга...

Скоро, скоро штурм Урги, чую. Будем Ургу брать, китайцев к лешему гнать. Солдаты застоялись. Командир это дело нюхом чует. Все должно сложиться, как Бог захочет. Не этот, Будда ихний улыбочивый, сладкий, а как наш Господь истинный, Христос Бог, длань с синих небес поднимет и нас ею осенит. Аминь.

– Осип, Осип, што крест широко как кладешь, во весь размах?!.. надо б уже...

– Уже токмо ужи ползут, Никола!..

Мать Кати, Софья-Амалия Терсицкая, урожденная Зебальд, белобрысая немка из Ревеля, покончила с собой. По крайней мере, так смущенно объяснила маленькой Кате, когда она стояла у гроба матери, сложив в робкой молитве тонкие ручки, ее добрая толстая тетка, сестра отца Калерия: «Твоя мама убила себя». Зачем она так сказала девочке? Катя тогда не поняла, что это: убить себя, – как это. Но испугалась очень; плакала и дрожала, спрятавшись за шторами в материнской спальне, с ногами забравшись на подоконник, и в день похорон ее не могли найти, обыскались. Амалия увлекалась оккультными учениями, модной теософией, спиритизмом, писаниями госпожи Блаватской и полковника Олькотта, – словом, загадочным Востоком. Восток внезапно нахлынул на Россию волной и стал в моде. В доме повсюду висели слащавые картинки с изображениями снеговых вершин Тибета, Гималаев, Канченджанги, Джомолунгмы, всевозможные мандалы с фигурками буддийских святых, вышитых золотой нитью, на полочках и этажерках стояли бесчисленные статуи Будды, Авалокитешвары, шестирукого пляшущего Шивы. Что греха таить, Амалия Людвиговна толком не знала, чем Будда отличается от Шивы или от Вишну. Ревельская дама была не в меру экзальтирована, закатывала глаза, вещая о будущей жизни в великой заоблачной Шамбале, ездила лечиться на воды в Карлсбад и Баден-Баден, на ночь при свечке читала вперемешку «Записки охотника» Тургенева и «Великие посвященные» Шюре... и внезапно, горько умерла: ее нашли в постели с пустым лекарственным пузырьком в руке. Отец Кати, Антон Павлович Терсицкий, плакал неутешно, рыдал денно и ночью. После похорон супруги – отпевать самоубийцу священники запретили, хоронили Амалию тайком, ночью, чтоб все было для любящего сплетни света шитокрыто, – он с головой, чтобы забыться, окунулся в дела своего второго «чада» – крупнейшей золотопромышленной компании России «ТЕРСИТЪ». Отец был на диво удачлив. Он искал золото на Урале – и находил. Он искал золото в Сибири – и тоже находил. Его разработки и прииски на Вилюе и Алдане гремели и славились и являлись предметом безумной зависти конкурентов. Антона Павловича ничуть не удивило, что дочь вышла замуж за сибиряка: «Храни брак, дочь, сибиряки да казаки – крепкий, верный народ!»

Ну что же, верный казак. Изменил ты, выходит, мне. Изменил...

Она медленно опустилась на влажную вонючую верблюжью шкуру. Полными слез глазами поглядела на Семенова.

– Триша...

– Только не надо этих бабьих причитаний, – он вмял ей крепкие пальцы в плечо. – Плюнь и разотри. Ты с Машкой подружишься. Она баба добрая. Будь и ты добра. Прошло наше времечко золотое, Катя. Прошло... Будем жить. Здесь ведь, как и везде, война идет. И я воюю. И я смертельно устал. Однако, Катя, другого пути у нас, у русских, нет. Разведи-ка лучше огонь в очаге, завари-ка мне луй-ча.

– Это что ж еще такое, Триша?.. – Золотая прядь выбилась у нее из косы, повисла вдоль пылающей щеки.

– Это чай монгольский такой, с молоком, маслом и солью. Вроде супа.

– Противно же, фу!..

– Ничего, и заваривать и пить научишься. Сил много прибавляет. Похлеще змеиной водки будет.

Выйдя из юрты, где на огне уже кипел, булькал медный походный чайник, Катя огляделась. Уже свечерело. Над горизонтом ходили тени странных облаков – будто волны с кругло закрученными гребнями, похожие на крутолобых барашков. За юртой бездвижно стоял старый двугорбый верблюд, осторожно, как глиняную, держал голову на высокой тощей шее, косился на Катю сливовым глазом, презрительно оттопыривал губу. Азия. Здесь была Азия. Выжженная, продутая тоскливыми ветрами чужая земля.

Катя пригладила волосы. Заметно холодало, она задрожала под накинутым на плечи мужниным кителем. Она научится здесь прясть верблюжью шерсть... надо бы связать в зиму мужу и себе носки, душегрейки... варежки... Трифон бросил ей: масло в чане около юрты, лежит в воде, чтоб не растаяло; принеси. Где чан? Она оглянулась беспомощно. И наткнулась глазами на глаза человека, стоявшего рядом, за отогнутым низовым ветром пологом юрты.

У человека были совершенно белые глаза.

Бело-зеленый, болотный огонь слегка мерцал на их дне – такими бывают блуждающие огоньки на болоте либо в ночном лесу, светляки, живущие в гнилых пнях. Глаза глядели на Катю неподвижно, застыли, как льдинки, под выгоревшими светлыми бровями. На миг ей почудилось: во всем мире только и есть, что эти пронзительно-светлые, бешеные глаза.

Она отшатнулась. Человек сказал тихо и твердо:

– Не вздрагивайте. Не люблю, когда боятся. Вы Катерина Терсицкая, жена моего атамана. Я извещен о вашем приезде.

Голос у человека был хриплый, резкий и волнующий скрытой жестокостью. Катя не опускала глаз, глядела прямо ему в лицо. Рассматривала его занятную одежду: ярко-малиновый, отливающий брусничным багрянцем, шелковый халат, подпоясанный шелковым поясом с кистями, монгольские сапоги со смешно загнутыми носками; на халате тускло светился такой же, как у Трифона, массивный Георгиевский крест. Герой. Ежик светлых волос торчал над изморщенным лбом. В круглых бровях и коротком, чуть вздернутом носе было что-то птичье. На скулах неряшливо сизела щетина. Щеки ввалились, как у чахоточного. Человек, видно, не особо утруждал себя бритьем. Под распахнутым на груди халатом виднелась грязная гимнастерка. Весь его вид говорил о запущенности, о том, что с ним рядом не было женщины, женской обихаживающей, заботливой руки.

Он еще раз пронзил ее белыми копиями бешеных глаз, повернулся и пошел прочь. Катя видела, как под переливающимся шелком халата-курмы двигаются худые широкие лопатки. Человек был высок, как пожарная каланча, и худ. Похоже было, что он и об еде-то не слишком печется. Катерина проводила его глазами, следила, как долговязая фигура исчезает в степных сумерках, в ветреной ночи.

На ее лицо упала снежинка, потом другая. Она протянула ладонь. Снег, пошел первый снег. А леса и распадки, тайга по горам, березы и лиственницы еще стоят сплошь золотые. Коротка здешняя осень. Она испугалась: быть может, и коротка жизнь.

«Недотепа, это же наш барон! Это сам Унгерн говорил с тобой!» Трифон, раскуривая трубку, набивая в нее китайский табак, сердито ожег ее глазами. Катя пожалала плечами: это и есть главнокомандующий? А зачем он в монгольской одежде ходит? «Так он же цин-ван, монгольский князь, – свистяще прошептал Трифон, пыхая трубкой. – Ему титул сам Богдо-гэгэн пожаловал. И у него, матушка моя, идея. Он хочет, чтоб Азия над всем миром царицей стала. Налей-ка в чай молочка утрешнего! Маслица уже запустила?.. соли швырни... Соль, однако, у нас в дивизии уж на исходе... покупать надо... завтра на Захадыр поедем...» Катя поняла: молоко – кобылье. У него был острый перечный привкус, оно чуть щипало язык, как квас.

Она глубоко вдохнула воздух со странным привкусом, с томящим, горько-сладким запахом. Ах, да. Сандал. Ее бедная покойная матушка, бывало, жгла редкое благовоние, уединясь

в спальне – тоненькие темно-коричневые палочки ставила в хрустальную рюмку и поджигала, и от палочек живыми усиками в стороны расходился сизый дым.

– Ты жег сандал, Триша?..

Он не ответил. Она поискала глазами. В медной испарпанной походной кружке дотле-вала обломанная сандаловая палочка. Вот так и любовь сторит. И жизнь... Она подумала о том, что сандал на Востоке зажигают не только для молитв и медитаций, но и для любви. В очаге тлели красные головешки. Семенов, сощурился, глазами горящими, как угли, пристально смотрел на жену.

Восемь ужасных

*Если ты овладеешь внутренним теплом тьмы, ты вкусишь райское блаженство еще в подлунном мире.
Учитель Милареспа*

Красные, того и гляди, войдут в Забайкалье. Партизаны воюют вовсю. Провалились все на свете, даже родной дядя его верного атамана верховодит партизанским отрядом. Чего хотят эти недоумки? Эти недоумки хотят власти. Власти, чего же еще?

Самая опьяняющая водка на свете – это власть. За это опьянение не вздернешь на дыбе, не дашь пятьдесят ли, сто палок, не оттяпаешь саблей руку, чтоб не подносила рюмку ко рту. Опьянившийся властью идет до конца. Он душит, губит, расстреливает, загрызает всех, кто встанет у него на пути.

А он? Он борется за что? За власть? За Россию? За Азию? За Царя? За свое брюхо?!

За свое тощее, вечно недоедающее брюхо, ха-ха. Он не любил еду. Он с ней мирился. Он ел из солдатского котла рис руками, утирал рот ладонью, запивал водой из ближней реки или озера.

Да, он ел как зверь и спал на земле, он мог сутками напролет скакать на коне и бестрепетно наблюдать, как по его приказу казнят провинившихся, но он хотел, да, хотел власти. Не простой! Не государственной! Не узурпировать собственность! Не взять в руки банки, телефонные станции, вокзалы, элеваторы, крупные заводы – и присвоить их! Как эти, красные собаки...

Он хотел Священной Власти.

«Ты можешь объяснить себе, что есть Священная Власть? Не можешь? Да, Будда смог бы. Но ты не Будда. И не лама. Ты просто воин. Все твои предки погибли в бою. Ты тоже погибнешь в бою. Ты умрешь с честью: с пулей в груди или во лбу. Тебя не предадут. Ты Заговоренный. Она... Ли Вэй... ты помнишь?.. заговорила тебя. Прочь подлые мысли о женищине. Для тебя теперь нет женищин. На войне их нет никогда. Зачем кое-кто из офицеров и казаков таскает за собою по степям своих несчастных жен?! Идиоты. Женищину надо оставлять дома. А у солдата дома нет. Его дом – священная степь. Его мечта – Священная Власть».

Он тряхнул головой, отгоняя назойливые, как оводы, ненужные мысли. Семенов засылал в Ургу Левицкого, и Левицкий встречался с Богдо-гэгэном. Выбор, дорогие мои монгольцы: либо владычество Пекина, либо красная чума, либо... Он мельком глянул в зеркало. Оно висело, жалкий осколок с потершейся, отсыревшей, пошедшей черными пятнами амальгамой, на стене юрты. У него была одна прихоть, причуда. Он, как баба, любил глядеться в зеркало, хоть за собою и не любил ухаживать – бриться, стричься. Это лицо – лицо властителя? Князя? Владыки?

Это жесткое лицо со сжатыми скулами, с прозрачными сумасшедшими глазами – лицо даже не правителя. Не военачальника. Не вождя. Хотя и то, и другое, и третье не так уж плохо.

Это лицо докшита.

«Докшиты, Хранители Веры. Вы, злобные, вы защищаете Будду. Вы защищаете свое небо. Кто защитит небо России, ежели убили ее Царя?! Не стать ли мне самому Царем, о докшиты?.. Что ты мелешь сам себе, барон, окстись. Верни Азии династию Цин и верни России Царя. Ты воин. Твое дело – умереть в бою».

У него в Азиатской дивизии три конных полка: Монголо-Бурятский, Татарский и атамана Анненкова. Хорошо, что еще Анненков жив, что он не пропал, как... как другие.

«Остановиться. Не думать о пропадающих людях. Предатели. Сволочи. Никто их не убил. Они просто убежали из Дивизии, собаки. И они найдут свою собачью смерть».

Так, три конных полка, это хорошо. И еще монгольские князья Дугор-Мэрэн и Лувсан-Цэвен со своими отрядами. Знают ли монголы, что русский Царь давным-давно мертв, расстрелян в Екатеринбурге? Его казаки, его монголы, буряты, татары и уйгуры хорошо вооружены. На одного солдата – одна винтовка, и это уже богатство по нынешним временам. В Урге есть такая сволочишка, купец Ефимка Носков, он напрямую связан с англичанином Биттерманом, вот через Носкова у англичан можно закупить партии новейшего оружия, и притом дешево, купец сам сделает свой навар, обедеет Биттермана вокруг пальца. Он связался с Носковым еще в Чите. Прижимистый купец тогда не обманул, переправил ему через Харбин оружия – винтовок и пулеметов – на десять тысяч рублей. Деньги были, разумеется, семеновские. Атаман щедро тратился на идею освобождения Азии и восстановление в Маньчжурии династии Цин. Ах, с японцами б поближе подружиться... Без японцев, судя по всему, – никуда... Но главное – Монголия. Главное – Урга. Урга должна стать его, Унгерна. Ургу должно взять.

Взять – какое отличное слово. Взять и не выпускать.

Проклятая сухая осень, ни капли дождя. Уже метет, намывает снег, сухая противная крупка, режущая губы и щеки. Плоские здешние горы затянуты, будто парчой для священнической ризы, бледно-золотой, грязно-красной сухой травой. Первая попытка штурма не удалась. Наплевать! Смеется тот, кто смеется последним. Нет, нет, его Дивизия, хоть и полуголодная и полураздетая – кто в чем шастают казаки, у многих солдат нет теплых ушанок, валенок, телогреек, – все же вооружена, а главное, воодушевлена. Кем? Им.

Им одним.

Далай-лама прислал ему из самого Тибета восемьдесят всадников из числа телохранителей, пошерстив свою личную священную гвардию. И он сделал в своей Дивизии особо любимую им Тибетскую сотню. Почему прислал именно ему? Потому что Далай-лама знает: он борется за истинную веру. Эта азийская война – священна. Эта огромная, на всю степь размахнувшаяся Зимняя Война неизбежна. К нему присоединяются простые монголы, степные кочевые араты, пастухи и скотоводы, беглые ламы из монастырей в ободранных дэли, отшельники-нищие, крестьяне, уверовавшие в то, что он – воплощение Чингисхана. «Мать Чингисхана глядела из-под руки вдаль, в степь, выходила и глядела, – сказал ему высокий, дочерна загорелый арат в островерхой шапочке, получая из его рук винтовку, – она вглядывалась в даль, ибо хотела увидеть, откуда прискачет белый конь Майдари. Сначала прискачет белый конь, потом явится Бог Войны Бег-Цзе, а потом уж на землю спустится Майдари, в грохоте боя и зареве пожарищ. И тогда наступит Будущее. Спасибо тебе, цин-ван». Я не цин-ван, я воин, не называй меня князем, жестко кинул он арату и отвернул голову, и тоскливыми глазами птицы поглядел вдаль. «Нет, ты цин-ван. Ты будешь цин-ваном, вот увидишь. Ты встал на защиту живого Будды. Ты освободитель Монголии. Нарисуй на знамени кровью врага последнее, двадцать седьмое имя Чингисхана – и ты победишь. Ты – воплощение Махагалы».

Тогда он впервые услышал о Махагале. О Жамсаране. О докшитах. По-тибетски – докшиты. По-монгольски их называли – шагиусаны.

Шестирукое божество, воплощенный гнев, ужас мести, медный звон непобедимого щита. На мандале чудище было изображено в диадеме из пяти черепов. Ожерелье из черепов болталось на шее. Палица из костей – в одной руке, чаша из черепа – в другой. Докшитов было восемь. Как звали этого? Кажется, этого звали Жамсаран. По крайней мере, так ему этот тибетец, этот молчаливый тубут, Ташур, сказал.

Ну да, верно, он же тоже карающий. Он живьем сжег гаденыша Чернова. Чернов при зимнем переходе в Забайкалье распорядился отравить всех тяжелораненых, тех, кто не вынес бы перехода в пятьсот верст до станции Маньчжурия. Ходили слухи, что бестия Чернов отравил не только раненых, больных и немощных, но и тех, у кого при себе были деньги и драгоценности. Он до сих пор помнит взрыв бешеной ярости, черным огнем заставший ему глаза. Он еле справился с собой тогда, чтобы тут же не выстрелить Чернову в лоб из револьвера. Это

было бы слишком большим благом для этой собаки. Он повелел бить отравителя палками так, чтобы из его тела сделалась кровавая котлета, а потом привязать к дереву и сжечь. Когда подожгли хворост, Чернов был еще жив. Распялив черный рот, он заорал, и он, генерал, слушал его последний крик. Докшит должен уметь выслушивать последний человеческий крик до конца.

Он еще раз взглянул на себя в осколок зеркала, встал из-за стола, отогнул полог юрты и вышел на воздух. Священная гора Богдо-ул возвышалась над степью, заслоняя лесистой чернотой, выгнутой спиной каменного зверя, ясное многозвездное небо. Сколько здесь всегда звезд осенью, зимой. Будто кто-то по черному бархату просо рассыпал. Монголы его, генерала, любят. Монголы любят его людей. Когда кто-то из его людей появляется в Урге – монголы их приветчают, а на китайцев его офицеры и казаки и плевать хотели. Провизию они уже с месяц как закупают на Захадыре. Он сам нахально появился в Урге на белой своей кобыле Машке, в малиновом шелковом халате, в белой папахе, проскакал аллюром прямо к дому китайского наместника, часового-китайца вытянул плетью по спине. Почему за ним никто не поскакал, никто не изловил, не подстрелил его? Его боялись. Его считали докшитом. Он улыбнулся. Перекрестил взглядом черно-алмазный свод Небесной Юрты. Надо выждать еще немного. Огни, огни по склонам Богдо-ула. Его мираж, его виденье. Он зажжет их. Повремени, оскаленный Жамсаран. Дай ему срок.

Ганлин играет

Ты же помнишь, помнишь, как было сказано, как спето было тебе: «Убив отца и мать, убив четырех воинов из касты кшатриев и пятым – человека-тигра, брахман идет невозмутимо».

Ты – брахман; ты – князь; ты – рыцарь. Ты – владыка безлюдных степей.

И человек здесь, в степях, для тебя – или драгоценность, и тогда его надо короновать; или дерьмо, и тогда его надо убить.

Нельзя драгоценность смешать с дерьмом. Нельзя из дерьма слепить алмаз.

Или – или. Третьего не дано.

О Золотой мой Будда, а как же ты? Как же горит во лбу твоём Третий Глаз?!

Закрой ладонью лоб свой. Ослепни хоть на миг. Усни. Передохни.

«Убив отца и мать, убив четырех воинов...»

Я и во сне считаю удары часов, как удары сердца своего. Каменного сердца. Железного сердца.

Голоса казаков. Федор Крюков

Ты знаешь, Оська, што бают про енерала нашего?.. А то. То и бают. Что, мол, он подсадная кукла японьская, слышь?.. А, не веришь?.. Лапой машешь?.. Маши, маши, мать твою так-этак-разэтак. За што мы-то с тобою, русские люди, за какой такой шиш моржовый кости свои тут, в степях, покладем?.. Трекашь, мы тут выросли?.. Да, выросли. Да, и я, Федька Крюков, тут вырос, на Амуре-батюшке, недалеко отседова, ну, верст пятьсот... а каво для Сибири-матушки пятьсот верст!.. как комар начхал, право слово. И што? Дымок знатный. Втягивай губой, втягивай, ноздрей лови. Когда еще вот так-то посидим, посмолим, покалякам. Пыташь, што это я все корябаю да корябаю?.. Бумаги-то мне сам енерал отпустил. Баит, выдать, мол, Крюкову десть бумаги, пушай садится и корябат, каво хотит. Мож, он летопись нашей Дивизии пером-то наковырят, всем молчать!.. Ну, все, вишь, и молчат, а я... Я все корябаю. Знать хошь, што?.. А, хитер ты бобер. Так тебе сразу и выложь. Миколка тайну выдал, говоришь?.. Ну я Миколке в бок кулаком насажу, вот ужо появится. Библию я пишу новую, самоновейшую, понял?!.. Што скалишься?!.. Каво ржешь-то, как коняга, а-а?!.. не смей ржать. Натуральную

Библию ваяю, как прям ту, Божью, настоящую. Баешь, грех?.. Сказать хошь, што она, Библия, уже настроена пророками когды-то, родимая, и, значитца, ее как бы нельзя, ну, што ли... вроде как... повторить, да?.. А я гутарю тебе – можно. Можно, щенок! Еще как можно! Вить каво тут, вокруг нас, творится? Вокруг нас, милый ты мой Оська, творится самый што ни на есть перекрой царства. Было наше царство-государство, Расея-мать; был у нас, братец ты мой, Царь; был у нас плохой ли, хороший ли, гадостный ли, зверский ли, – а, пес с ним!.. – а все ж порядок. В церкву ходили по праздникам, в армии служили... семьи заводили, в пост постились, в Пасху – разговлялись да надирались, под крыльцом валялись... Детей рожали, Расею от бусурманов защищали... мой-то батька, промежду прочим, под Плевной отличился... и, кумекай, без руки домой вернулся, да хромым... а matka его уж как обхаживала, уж как слезу лила над ним... Ох, Боженька ты мой!.. Слава русская, солдат русский, Царь русский... Бог русский... все нашенское было, порядок. Разрежь пирог – а там три начинки: Бог, Царь да народ, вот и весь тебе оборот, а то, что власть имущие кровь сосали, что поп тебя за волосы из лужи, пьяного в дымину, ташил, что недоимки забирали, последнее тянули, – так это ж, милый ты мой, государство, а в ем – зако-о-оны, мать их... не мы с тобой их пишем... Каво пыташь?.. Об чем в Библии своей пишу?.. Да ты, брат ты мой, затянись лучшей да помолчи. Помолчи чуток! Про все печатлею. Про битву нашу под Улясутаем. Под Маймаченом. Про переход по канскому льду. Про то, как вот в ночи стоит дворец Богдо-гэгэна энтого ихнего, светится всеми окнами; што у них, думаю себе, во дворце у князя энтого монгольского, свечито всю Божью ноченьку горят-потрескивают?!.. эка, мыслю, и дорогонько в лавках свечей-то закупать!.. одно слово – гэгэн...

Каво как зыришь глазенками-то?.. Говоришь, и тебе хочется пером бумажку покорябать?!.. Эх, милый, молодой ты парнишка... Да ить, елки-палки зеленые, можа и не вытанцеваться у тебя ничего... И знашь пошто, глупенький?.. А по то, што надоть сперва словом овладеть. Мне-то, разумешь, как страшенно было садиться за ту бумагу – у-у-у!.. Смертоубийственно. Я уж и молился, и крестился. Веришь ли, паря, этакое чувство охватило – ну как я пером-то неумелым по бумажке поведу, а она и загорится, так сильно настрадался, так много хочу поведать, запечатлеть... И, помолясь, – стал писать... А слова-то, слышь, так сами в речь связную и складываются, так и льются... И я, эх, и обрадовался!.. Какой я радый тут стал, паря... Што, просишь почитать?.. Покамест не клейся, не приставай, как банный лист. Дай пока мне высказаться. Энто ведь не шутка, паря, – Библия. Библия Войны – вот как я ее именую. Каво ржешь-то опять?!.. Ты кури, кури... Думаешь, я чепуху мелю?.. Я-то Бога молю об одном: штоб мои каракули в энтом огне военном не сгорели, штоб дотерпели до мира... ежели, паря, он наступит, конечно...

* * *

Брат Трифона, Иуда, квартировал в самой Урге. Барон на целый день отпустил супругов в Ургу. Ну надо же молодой жене хоть разик и столицу Халхи поглядеть, развел руками Семенов, не все же ей в юрте над очагом корчиться. Она ж у меня девочка питерская, к развлечениям да к веселью привыкла!.. А теперь, конечно, на военном театре шибко не развеселишься, да... Барон, поставив на Трифоне двойную печать белых бешеных глаз, кивнул: езжайте.

Они оба, и генерал и атаман, смолчали о том, что поездка в Ургу была сопряжена с определенной, и большой, опасностью. Урга еще не была взята. Штурм китайского квартала Маймачена был неудачным. Теперь Унгерн выжидал удобного момента. У Семенова не было поддельных документов – на имя какого-нибудь из тысяч русских, населяющих Ургу, либо печального эмигранта, скорбящего о судьбах поверженной России: такие документы стоили довольно дорого, здесь бесшабашно-щедрый атаман жалел денег, экономя их для покупки лишнего оружия и боеприпасов. Однако Семенов, ничтоже сумняшеся, выбирался в Ургу то

и дело, благо Иуда, брат, жил там, и китайский кордон ни разу не остановил его: он знал такие въезды в город, колесил по таким улочкам, что не просматривались китайским дозором, стоявшим в основном на заставах; и, разумеется, он снимал с себя военное одеяние и напяливал рубаху, жилет, сюртук, брюки – все цивильное, не первой свежести, смешное, старомодное.

Ни лошадей, ни повозок. Командир выделил им для посещения Урги авто – единственное в дивизии. Автомобиль с открытым верхом, душно и дурно пахнувший маслом и керосином, был нечищен и страшен, как грязный, вывалившийся в луже старый боров, и Катя, перекрестясь, перед дорогой помыла его, как моют коня, потеряла тряпочкой. Они сели в лупоглазое неуклюжее авто, Семенов дал газу, машина чихнула, пыхнула и стронулась с места. Лагерь Унгерна располагался на северо-востоке, и они осторожно, петляя и заворачивая по непроезжим старым дорогам, минуя заставу, въехали в Ургу с севера.

Урга по-русски, иначе, по-монгольски, Их-Хурэ, что означало «большой монастырь», или Нийслэл-Хурэ – «монастырь-столица», раскинулась на берегу неширокой извилистой реки Толы. Священная гора Богдо-ул, поросшая хвойным лесом, защищала город от суровых ветров, налетающих из пустыни Гоби. Ургой священный град издавна именовали казаки.

– Что такое Урга, Триша?..

– «Орго» – ставка.

Атаман, откинув боковое стекло, положив одну руку на руль авто, медленно курил, стряхивая пепел на дорогу. Щурился на кряжи горы Богдо-ул.

– Знаешь, Каточек, ежели глядеть с той высокой горы, да, да, с горы Богдо-ул, вниз, можно заметить, что Урга состоит из множества поселков, и они слеплены между собой... непонятно каким воском. Сладким воском монастырей, так я полагаю. Здесь все так веруют в своего улыбчивого Будду!..

– Да, он улыбается все время...

– Рожа у него женская, я тебе скажу, бабья рожа.

– Если бы взобраться на Богдо-ул, на самую вершину...

– ...ты бы увидела, радость моя, что внизу – соты, соты, соты... монгольские юрты, сибирские избы, китайские фанзы, а сверху – там и сям – золотые либо размалеванные яркими красками, как детские игрушки, крыши святилищ, храмов, дацанов, монастырей... Сказочный городок, я скажу тебе...

Катя покосилась на мужа. Его профиль гляделся старой темной монетой, чеканки времени Иоанна Грозного. В бороде просверкивали седые нити. «Как он состарился, Боже, на этой войне».

– А ты сам был там, на вершине Богдо-ула, дорогой?..

Семенов выбросил окурочек в раскрытое окошко. Его поседелые волосы отдувал ветер. Лысина масляно поблескивала.

– Был. Очень красиво. Погляди-ка, башня такая, выкрашенная в ярко-желтый цвет, цыплячий, с красными китайскими деревянными завитушками. Это храм Мижид Жанрайсиг в монастыре Гандан-Тэгчинлин. А там, поодаль... видишь, медью сверкает на солнце, ослепительно так?.. это купол Майдари-сум...

– Кто такой Майдари?.. Или – такая?..

Авто тряхануло, Катя вцепилась в потертое кожаное сиденье.

– Такой. Это у них, у монголов, Будда счастливого будущего. Вроде как божество золотого века. Они верят, что золотой век опять наступит, и Калиюга, время кровопролития и ненависти, закончится. Видишь ли, птичка моя, монголы более оптимистичны, чем наши ортодоксы, исповедующие Апокалипсис.

Семенов усмехнулся. Авто уже колесило по узким улочкам. Монастырь Гандан парил призрачным кораблем вдалеке. Обитель монгольских богов показалась Кате слишком краси-

вой, как вычурный воздушный петербургский торт былых, дореволюционных, времен из знаменитой кондитерской «Норд» на Невском.

– Здесь хранятся высушенные и покрытые золотой краской тела двух предшественников Богдо-гэгэна, – шепнул ей на ухо Трифон, выкрутив руль, – монголы поклоняются перерождениям Будды, как самому Будде.

Катя нахмурила лоб.

– Что такое... перерождения?..

– Ты слишком христианка, душа моя. Выкинь из головы.

Гандан-Тэгчинлин, светясь, как маяк, высокой пагодой-колокольней, глядел на них с высокого холма; авто медленно обогнуло холм, усеянный малюсенькими домиками и фанзочками хуараков-послушников и лам всех степеней. Белые субурганы ослепили Катю. За каменными оградами возвышались многоярусные кровли бесчисленных храмов, выстроенных в китайском стиле. Катя вспомнила восточные причуды покойной матери. Как ее мать хотела попасть сюда! Восток был ее *mania grandiosa*, ее *idee fixe*... Катя смотрела на маленькие юрты, стоявшие возле храмов на склоне холма за смешными заплатами из длинных жердей.

– Кто тут живет, Триша?.. Ремесленники, простой люд?.. уж больно бедны домишки...

– Монахи, – кинул, как обрубил, Семенов.

Они въехали в квартал, почти сплошь застроенный домами русского, восточно-сибирского пошиба – сложенными из толстых бревен, хорошо утепленными для суровой зимы, низкоросло-приземистыми, казалось, растающими в землю, на низко посаженном фундаменте. Здесь селились русские; ниже, к берегу Толю, – тибетцы. Семенов направил авто немного вбок, они нырнули в узкую, как трубка для курения опия, улочку, и въехали на обширный пустырь, заваленный черт-те чем, и хламом и стоящими вещами, беспризорно брошенными; повсюду располагались склады и лабазы, расстилались торговые ряды, сколоченные из грубых, исеченных ветрами и дождями серых досок, за рядами стояли, переругиваясь и пересмеиваясь, подзывая покупателей, торговцы, на лотках был навален беспорядочными горами разномастный товар, купцы выкликали непонятные гортанные, зазывные слова, ветер трепал полы курм и дэли, овечьих шубок и подбитых мехом плащей. Шумная толпа, наряженная в цветные и нищие, в военные и цивильные, в ламские и в крестьянские, в господско-европейские и в древне-азиатские, за тысячу лет не менявшиеся наряды, одетая пестро и чудно, по моде Смутного Времени, верней, безо всякой моды, сновала туда-сюда по огромному пустырю; люди шастали меж торговых рядов, присматривались к кожаной самосшитой обуви и жареным курам, к сушеным ягодам, рассыпанным на лотках, и собольим шкуркам, висевшим на распяленных руках скалящихся узкоглазых охотников; китайцы разворачивали перед дамами яркие шелковые отрезки, бойкие монголки торговали готовыми, уже пошитыми в кустарной мастерской слепяще-синими и винно-красными дэли, перебирая их сухими смуглыми птичьими лапками. Дэли мотались на вешалках на ветру, солнце светило ярко, терпко пахло чесноком и луком, моченой черемшой, копченым мясом, в руках у прикативших из Кяхты буряток мотались связки сушеных таежных грибов. Катя оглянулась на Семенова. Он подмигнул ей.

– Захадыр, душа моя. Здешний центральный рынок. Злачное место. Клекочут, прости меня Боже, как куры, эти женщины!.. – Он чуть не наехал на смеющихся, быстро что-то выкликающих – верно, выхваляющих товар – хорошеньких молоденьких монголок с огромными корзинами серебряной, еще живой, бьющей хвостами рыбы. – Торгуют чем могут. Назначают свидания. Пьют горячий хурч с молоком. Обсуждают политику. Если хочешь узнать, что творится в Монголии, в Китае, в России, а также во всем широком мире, приезжай сюда, на Захадыр. Шпионов здесь – видимо-невидимо. Они иной раз и под торговцев работают. Дэли напяливают, по-аратски лопочут, не отличишь. Но торгуют здесь, сама понимаешь, всякой розничной ерундой. Крупные оптовые сделки совершаются не на Захадыре.

– А где?.. – Катя с любопытством уставилась на сильно морщинистого, раскосого старика. Перед стариком на прилавке лежали... рыбы, так подумала она сперва, а потом взгляделась и поняла: ножи. Узкие, длинные, серебристо, как сельди, блестящие; короткие, широкие, похожие на байкальского сига; аккуратные-прямые, чисто рельсы, и зловеще-кривые, напоподобие знаменитых турецких ятаганов. Авто уже катило дальше, цепляя колесами подмерзшую землю, перебиралось по мосту через речку, и раскосый старик с ножами навек остался в Катином воспоминании.

– Речка... какая миленькая... что за речка?..

– Сельба.

Они объехали Захадыр с севера, и Катино ухо уловило два-три раза русскую речь. Над Захадыром, на холме, возвышался круглый, обитый листовой медью, больно блестящий на солнце купол Майдари-сум, самого большого храма столицы, и позолоченная крыша Шара-Ордо – Златоверхого дворца правителя Богдо-гэгэна.

– Сколько святынь, Тришенька!..

– Верует народ, верует. Нам бы так веровать, не было бы у нас этого междуусобья никогда. Своя своих не познаша...

– Это все равно должно было когда-нибудь случиться...

Семенов поддал газу, мукнул клаксоном. Из-под колес врассыпную бросились замурзанные косоглазые, с черными челками, детишки.

– Да, да, поговори еще! Ты, дочка золотопромышленника, возвращенная не на хлебе и воде – на сливках и шоколаде! – Он с неведомой ей злобой глянул на нее, и она вжала голову в плечи. – Народ взбунтовался... но его, народ-то, как всегда, душенька, обманули! И мы должны уничтожить этот обман.

– Вернуть России золотой век, да?.. Которого у нее – не было?..

– Вернуть России Россию. Не бабьего это ума дело.

Они долго, медленно колесили по переплетеньям узких улиц. На одном из перекрестков перед авто, будто из-под земли, вынырнула странная старуха. Ее черно-седые, густые космы, нерасчесанные, с колтунами, висели вдоль скукоженных, как печеное яблоко, щек. На коричневой сухой шее, спускаясь на впалую обвислую грудь, моталось почерневшее от времени медное монисто. Мочки ушей оттягивали тяжелые, как колеса, серьги. Она ринулась навстречу автомобилю и вцепилась скелетной рукой в стекло. Семенов затормозил.

– Ну что, что тебе, старая? Ступай, ступай своей дорогой, Дарима...

– Погадаю, – сказала старуха внезапно отчетливо, по-русски. – Погадаю твоей суженой. Не отворачивайся. Судьбу скажу.

– Судьбу, судьбу!.. Брехня!.. Ты, Каточек, не слушай ее...

Катя, не вылезая из «лендровера», протянула старухе руку в открытое окно. Это была знаменитая ургинская гадалка Дарима, полубурятка-полуцыганка. Она славилась в Урге, особенно в среде русских несчастных эмигрантов, сбежавших от ужасов революции и войны, виртуозным гаданием по руке: все, что она говорила, сбывалось. Катя заинтересованно глядела в сморщенное, когда-то красивое лицо, на медную позеленелую чешую старого мониста. Судьба, сказала она... судьба, может, тоже китайское слово...

Дарима, поведив черным скрюченным пальцем по ладошке Кати, внезапно отшатнулась. Ее губы шевелились, она произносила про себя то, что не должно было вырваться наружу и разгневать богов.

– Ну и что?.. Что ты там у меня увидела?..

– Поедем, Катерина, ну ради Бога, чепуха какая...

– Смерть тебя ждет, – внятно произнесла старуха, глядя прямо в Катини глаза. – И вокруг себя смерть посеешь. Уезжай в свой далекий северный город, пока не поздно... спасайся... беги отсюда, деточка, беги!..

На складчатой черепашьей шее, в яремной ямке, Катя зорко подметила православный крест. Может быть, старуха была родом из Иркутска или из Кяхты, и в Ургу ее занес ветер бешеного времени. Дарима выпустила Катину руку. Семенов выгреб из кармана кителя мелочь, китайские мятые доллары. Катя покопалась в сумочке, вытащила из портмоне «керенку», огромную, как простыня, сунула старухе. Авто, взревав, обдало дымом сгорбившуюся высохшую фигуру на обочине.

– Она как засохшая слива, Триша. Уже не расцветет...

– Что, гаданья дешевого испугалась?! Открестись, душенька. Все пустое. Бабке тоже денежек заработать надо, кусок свой кровный каждый день кусать. Гляди, гляди! Это уже Маймачен. Почти доехали! Китайский квартал, душа моя, здесь одни китайцы живут. Торгуют, копошатся... Русские тут тоже есть, татары, евреи, японская колония растет, сакэ выдělывают и почему зря продают... каждой твари по паре, как в Ноевом ковчеге... Вылезай! Здесь Иудушка обитает.

Они остановились перед низким одноэтажным, с загнутой китайской крышей, каменным домом, стоявшим на жутко грязной, кривой и узкой улочке Маймачена. Катя выбралась из авто, прищепила и чуть не порвала юбку дверцей. Семенов постучал в подслеповатое оконце привязанной к двери деревянной колотушкой в виде бутона цветка. За дверью послышались шаги, и она открылась. На пороге стоял черноволосый, кофейно-смуглый, поджаро-подтянутый, будто сейчас вышколенный офицер – невысокого роста, но справный и изящный молодой человек. А может, просто – моложавый?.. Не верилось, что он всего на несколько жалких лет младше старообразного, грузного и кривоногого, с седыми бровями и лысиной, порядком изношенного атамана.

Катя так и уставилась на хозяина, не мигая. Бессознательно поправила косы на затылке. Улыбнулась нежно, смущенно.

– Здравствуйте... Иуда Михайлыч...

– Проходите, проходите, гости дорогие. Через порог не принято целоваться. Ну, здравствуй, братец! – Он сжал в объятиях Семенова, бывшего на голову выше его. – Ого, поздравел... на баронских харчах...

– Харч-то незнатный, луй-ча бесконечный да кондер, – оправдательно пожимал плечами Трифон. – Жену облобызай... впервые, я чай, видишь-то?.. любуйся...

– Уж полюбуюсь. – Иуда шагнул к ней. Поклонился – сухо, вежливо нагнул голову. – Добро пожаловать, Катерина Антоновна.

Она медленно переступила порог.

Иуда обнял ее, взял ее в руки осторожно, как фарфоровую статуэтку, неслышно обхватил за плечи и прикоснулся троекратно губами так тихо и невесомо, что она даже не почувала поцелуев. Это были поцелуи-призраки.

«Человек-сон, – испуганно подумала она. Голова ее кружилась. Отпечатки его ладоней на ее плечах горели. – И я тоже сплю. Мне все это снится».

Иуда совсем не был похож на брата. Их будто не одна мать родила. С кем-то староверская матушка из Куранжинского караула на Ононе сладко согрешила – в Иуде явно текла горячая восточная кровь, слишком узок был разрез черно-сливовых, как у коня, глаз; слишком широки и плоски скулы; слишком поджаристо-темны, бесстрастны тонкие губы; слишком... Все в Иуде было «слишком». Слишком тонкая талия. Слишком широкие, мощные плечи. Слишком белые, хищные, как у зверя, зубы. «Должно быть, ест, как все они тут, сырое мясо», – с отвращением подумала Катя.

Иуда Семенов был слишком мужчина. Катя еще не видела таких. Ее добрый, вечно озабоченный, с брюшком, с закрученными усиками отец... Ее бравый, грузный, с кривыми ногами номада-наездника, ожесточенный страшным временем муж – мужик, пахнущий потом, с седыми нитями в бороде, с яйцевидной лысиной... Ее бесполые кавалеры на балах, в гости-

ных на party у подруг – сладенькие, глуповатые, с нафиксатуаренными усиками, с самоцветными запонками в манжетах от Жанэ... Она неотрывно смотрела на Иуду. Потом, застеснявшись, отвела взгляд.

На столе уже все было накрыто, ждало гостей. Иуда расстарался, встретил гостей дорогих сибирской и монгольской кухней. В маленьких фаянсовых мисочках горками возвышалась осетровая икра; на длинных тарелочках лежал длинный и чуть изогнутый, как казацкая сабля, соленый байкальский омуль, нарезанные кусочками сиг и елец, жирно, холодцом, трясся чир, алела на разрезах розовая кета. В салатнице источала чесночный аромат темно-болотная черемша. В вазочках на длинных ножках чернело варенье из ежевики. Еще запотелые, принесенные с холоду, серебрились бутылки пшеничной русской и рисовой китайской водки. На тарелках лежало еще горячее, дымящееся, только из печи мясо, приправленное рубиново-алой моченой брусникой.

– Оленье, – гордо произнес Иуда. – Сам в Саяны ездил охотиться. Хорошая охота была, белок еще на шубу изрядно настрелял. Кабанчика приволок. А вот поозы отпробуйте, Катерина Антоновна!.. только осторожно кусайте, сок может на платъице брызнуть...

Он тоже невежливо, впечатывая в нее сургуч узких глаз, пялился на нее. Она не знала, куда деваться от этого буравящего взгляда. Чтобы побороть смущение, стала молотъ языком всякую светскую, незначащую чушь. Иуда слушал, кивал головой, подкладывал ей на тарелку то поозы – кисеты из теста с сочным ароматным мясом внутри, приготовленные на пару, – то щедро, столовой ложкой, икру, то терпкой брусники, и она благодарила, едва отпробывала, чуть, для приличья, откусывала – и снова щебетала, пела, как птичка. А Трифон, налегая на братнину еду, отправляя в рот одну рюмку водки за другой, мрачно, тяжело смотрел на них обоих.

– Осмелюсь предложить вам, дорогие родные, поездку в интереснейшее место Монголии, в Тенпей-бейшин. Это на юг от Урги... далекоовато... скакать примерно часа четыре, пять...

Атаман вскинул лысеющую голову. Взглядом заарканил брата.

– Скакать? – Катя оживилась. – На лошадях?

– Совершенно верно. Я не люблю автомобили.

– Я тоже, – пробормотала она. Семенов, покосившись, облизал ложку.

– Тенпей-бейшин – обитель Джа-ламы. Мне надо свидеться с ним сегодня. Я ждал вас, чтобы взять вас с собой. Да и тебе, брат, – он обернулся к Трифону, – надеюсь, нелишне встретиться с ним будет, хотя сейчас он пытается отдалиться от мира... и от военных действий. Ничего у него не удастся. – Тонкие губы скривились. – Он втянут в круговорот, и он снова примкнет к тебе... к барону. Время работает на нас. Итак, мы едем? После обеда?.. Лошади готовы. Я приказал их приготовить заранее.

Катя поразила – как он все точно рассчитал, чтобы не было отказа. При упоминании имени Джа-ламы лицо Семенова еще пуще помрачнело.

– А, наш великий друг, кровавый лама, – выдохнул он. – Когда ему надо было, так он, собака, воевал. Знатно бился. Его, как и барона, пуля не брала. И оружия у Унгерна все для своих цэриков просил, винтовки задорого выкупал, монастырскими сокровищами расплачивался. Все брехал о бодхисатвах, которые отказались от нирваны, чтобы спуститься в обитель грешников и служить людям, разя врагов. Поразил! – Семенов зло поднес к губам рюмку, выпил, резко и шумно выдохнул. – За то, чтобы нам никогда не сдать оружия! Царство Божие настанет! Царство Романовых настанет! И царство династии Циней настанет!

– Настанет, настанет, – кивнул Иуда головой, – конечно же, верь, брат.

Когда Катя вскинула на него глаза, ей показалось, что Иуда смеется.

Лошади были оседланы. Катя легко взлетела в седло, и Иуда глянул на нее с удивлением: вот ты какая, питерская девочка, кисейная барышня! Гнедой золотистый конь, почуяв седока,

затанцевал, заиграл, оборачивая к Кате точеную голову с умным темным глазом, и она погладила его по холке, по шелковистой гриве.

– Царский конь, – смущенно обронила Катя, сжимая повод в кулаке. – Я на нем как царица.

– Вы и есть царица, – не моргнув глазом, ответил Иуда. – У вас царское имя.

– А у вас – апостольское.

Иуда смолчал. Они выехали на лошадях на улицу, залитую солнцем. Шел легкий редкий снежок. Калитку заплота закрыла за ними низкорослая китайская служанка. Видно, она, под надзором Иуды, и приготовила все эти яства сегодня. Никакой женой в доме и не пахло. Однако Иуда был одет с иголки, ухоженно, даже щеголевато. И костюм для верховой езды у него был модный, английский, выписанный, возможно, из самого Лондона, а не заношенный китель и грязные галифе с лампасами, как у ее мужа. «Надо бы устроить стирку», – тоскливо подумала она.

Они выехали из города и, прищпорив коней, поскакали на юг. Иуда откровенно любовался тем, как Катя сидела в седле. Семенов мчался впереди, пригнувшись к лошадиной холке. Под ним был белый конь, его глаз отсвечивал оранжевым, диким светом. «Как сердолик», – подумала Катя. Вскоре они уже скакали по степи, а степь плавно перешла в пустыню. Всюду, куда ни глянь, расстилались красно-желтые пески, торчали, как кости дракона, выветренные камни.

«Пески поглотят меня. Пески погубят меня. Красные пески пустыни вберут меня и не отпустят». Она запрокинула голову в скачке, задыхаясь. Солнце стояло над красной Гоби высоко в зените, его белые бесцветные лучи разогнали снеговые тучи. Мороз выдубил землю, и она, как жечь или сталь, звенела под копытом.

– Вы вооружены, Катя? – Иуда подскакал поближе. – Муж позаботился о том, чтобы у вас при себе всегда было оружие? Ну, хотя бы хороший новый кольт... или смит-и-вессон?..

– Нет. Мы как-то не подумали об этом.

– Война, везде стреляют. Мы живем внутри вечной зимней войны, Катерина Антоновна. Сколько людей убито уже. Представить страшно. Попросите Трифона дать вам револьвер. Так будет надежнее... спокойнее.

Конь Иуды, вороной масти, покосился на Катю, резко, коротко всхрапнул. Она раздула ноздри и почувствовала терпкий, чуть кисловатый, как брусника, запах конского пота. Иуда ударил шпорами по ребрам коня и, резко оторвавшись от Кати, унесся вперед.

Мать, ее похороны... Та, детская, первая встреча со смертью... Ей страшно было вспомнить умерших людей. Всех людей, с кем ее за эти два, три года столкнула взорванная изнутри, съехавшая с рельсов жизнь. Всех, кого она видела умирающими, погибающими, мертвыми рядом с собой. Упавшая под ноги ей прямо в бесконечной, изнуряющей очереди за хлебом питерская старуха... Расстрелянный городскими мальчонка на углу Фонтанки и Невского... Обнявшиеся крепко – да так и найденные обнявшись, замерзшие, истощенные девочки-близнецы, дочери швеи Настасьи, в квартире напротив, в их с отцом доме на Литейном... Лежащие друг на друге, штабелями, трупы расстрелянных красными на вокзальной площади в Омске... Царя с Семей убили. Лучших генералов и офицеров убили. Тымы тем русских солдат убили. Тысячи тысяч простого народа – убили. Почему никто не убьет этого картавого человечка, этого лысого маленького раскосого бесенка, ввергнувшего страну в карнавал смертей? Поговаривали – в нем немецкая, еврейская и калмыцкая крови... Она бежала с Запада на Восток, к Трифону, от развернувшегося перед ней веера смертей, еще не понимая, что ее время уже нигде не схлопнет перед ней этот роковой черный веер, на сгибах которого тонкой японской кисточкой намалевана Старуха Смерть. Она чудом добралась до Иркутска. У нее столько раз проверяли паспорт в дороге, столько раз зыркали на нее ненавидящими глазами, хоть и доку-

мент у нее был исправен, и оделась она в дорогу попроще, да вот лицо, проклятое благородное, с тонкими царственными чертами лицо ее торжествующе выдавало. Когда поезд останавливали очередные красные дозоры во главе с комиссаром в неизменной черной свиной кожанке, она забивалась в угол купэ, закрывалась ангорским платком до бровей. И все же однажды к ней придрались, угрожали наганом: ты, барышенька недорезанная, зачем в Иркутск мотанулась?!.. а?!.. только не ври, что соленого омуля захотелось!.. а ты оттуда куда пойдешь?!.. в Читу?!.. в Кяхту?!.. в Хабаровск?!.. в самое пекло?!.. Не сестричкой ли милосердия в Белую Гвардию пробираешься, стервоза, а?!.. Она жалобно причитала, стараясь выговаривать попростонароднее: к мужу я, миленькие, к мужу, в Листвянке он у меня, за матерью престарелой ухаживает, при смерти мать-то... «При смерти, говоришь?!.. Мать, н-да, мать это дело такое... Ну,мотри, езжай!» И, оглянувшись, будто ударили с потягом: «У, контра!» А соседа, что трясся в грязном купэ рядом с ней, закрыв глаза, вывели в золотой шелест берез, наставили маузер, и – пулю в лоб. И она спокойно, будто в синематографе, смотрела, на упавшего на землю, как мешок, человека, на то, как кровь течет из маленькой черной дырки по переносью и виску.

На миг ей подумалось: уж лучше умереть здесь, в степях, рядом с мужем. Рядом... с мужем?!.. А что такое сейчас твой муж для тебя, Катя?!.. Эта его походная гром-баба... Машка... Котлы, приказы, бивуачные костры, солдатня, чистка сапог денщиком и пощечина ему: раз-гильдйай, собака!.. – эти его засады, сражения, атаки, шашки наголо!.. р-руби... ложись, стреляй... Сражайся, сражайся, бейся до конца... пока не умрешь... Какое ей место отведено во всем этом, таком чужом ей, страшном мире, в винтах и лопастях чудовищной бойни? Может, и правда настал Конец Света, как шептали, шамкали в Питере в очередях беззубыми черными ртами голодные старухи?!.. Зачем она приехала сюда? Муж огрубел. Он незнакомый. Он страшный. Он... чужой.

Она прищипорила гнедого коня. Конь под ней был весь теплый, горячий, уже потный – она чувствовала его горячесть ногами, плотно обхватившими конские тяжело дышащие бока. Конь под ней бился, играл, скакал, и это была сама жизнь. Она пригнула лицо к ушам коня. На скаку, отпустив повод, погладила коня между ушей, и он тихим ржаньем отозвался на ласку.

Она слишком, неистово, невыносимо хотела жить.

* * *

Голос воплощенного

Он бежит через перевал.

Он все еще бежит через перевал, освещенный закатным солнцем, и розово-красно блестят в лучах снежные вершины и острые, как ножи, сколы горных кряжей.

Он бежит, заколдованный лама, великий сумасшедший лунг-гом-па. Никого не видит вокруг, не слышит. Широкими скачками, странными прыжками, как если бы он был не человек, а дикий зверь, бежит он через снеговой высокий перевал, где трудно дышать, где у бывалых шерпов носом и горлом идет кровь, а он бежит так легко, будто он невесом и из тела у него вынули все кости.

Я, Дамби-Джамцан, все еще вижу его. Я закрываю глаза – и я снова там, в Тибете. Там, в высокогорном монастыре Дре-Пунья в Лхасе. И мне холодно стоять босиком, в одном холщовом тонком плаще, на горной тропе, и снежная крупка бьет мне в лицо, и горы, острые, как рубила, уже становятся синими, их

синие ножи режут темнеющее небо, и из раненого неба течет кровь. И мерные удары гонга плывут над моей головой: цзанг-донг, цзанг-донг. Человек, пройдя путем Дао, должен расстаться без страха и сожаления со своей душой, уходя из состояния бардо в обитель богов; но ты никогда не узнаешь, в ком снова родится твоя плачущая кровью, страдающая душа, а потому молись, чтобы не воплотиться в собаку или мерзкого червя, пищу жирных рыб.

Я видывал виды. Китайцы арестовывали меня и били смертным боем. Меня, восьмое воплощение великого героя Амурсаны. Я, сжав зубы, терпел. Я умею изгонять из тела боль. Меня этому учили там, в Дре-Пунья.

Я был нищенствующим ламой, просившим на обочинах дорог подаюнья; я стал владетельным князем, и я повел за собой войска. Я помню, как я брал крепость Кобдо. Монголы боготворили меня. Под моим началом они теряли навсегда страх и трусость, из муравьев и тараканов становились героями. Я вдыхал в них геройский огонь.

Дай огня, Ширет. Спасибо. Надеюсь, в трубке табак, не опий? Не люблю этих игрушек. Я и это попробовал. Я перепробовал все. Когда я был в Индии, меня посвятили в учение Тантр. Одна из важных заповедей Тантр гласит: испытай все соблазны и все страсти жизни сполна, чтобы, выпив их до дна, навсегда избыть их. Я испытывал много страстей. Я имел много женщин. Я пил много рисовой и змеиной водки, много сакэ и русской вкусной ягодной настойки. Я скакал в атаку, оглушительно крича, раззявив рот – вот-вот птица залетит, – и над моей головой развевалось белое знамя с алым знаком Чингисхана, и я крепко держал древко – так крепко, что, если бы меня убили, я бы продолжал держать знамя.

Алый иероглиф. Я убил гамина. Я взрезал ему грудь тибетским ножом-пурба, вырвал сердце и кровью сердца написал на белом шелке: «ТЕМУЧИН».

Мой шатер перевозили на двадцати пяти верблюдах. Шатер тоже был белый. Я хотел, чтобы он был чисто-белый, ослепительный, как горы Тибета, как Канченджанга, как Хан-Тенгри. Я владел техниками древнего колдовства и отводилот себя смерть, смеясь. На берегу озера Сур-нор на меня однажды напали казаки с пиками. Я только поглядел на них, клянусь, лишь поглядел. И они заорали дурными голосами: вон он!.. вон он!.. – бросились друг на друга с пиками наперевес, и закололи друг друга. А я стоял на берегу озера и смеялся, и ничем не был защищен, как новорожденный лосенок. И казаки убили друг друга, думая, что убивают Джа-ламу.

А я стоял и думал, пойти мне по воде, как ходил ихний православный Христос, или же – холодно моим пяткам будет. А темно-синюю воду уже схватил тонкий, еле видный, прозрачный лед, и шуга сверкала под солнцем, как звездчатый сапфир.

Жизнь – майя. Смерть – майя. Все сущее нам лишь кажется. Однако зачем же я воюю? Зачем я воевал? Отчего я теперь отдалился от Унгерна? Я же его опекал. Я потакал ему. Я поддерживал его как мог, и я, как никто, понимал его, когда он, закатывая свои яростные белые глаза и лицом напоминая тибетского послушника, совершающего страшный обряд Тшед, бормотал мне в ухо: «Спасение мира должно прийти из Китая. Человек, что воссядет на реставрированный престол Циней, будет рожден в монгольских степях. Свергнутая когда-то маньчжурская династия, будучи возвращенной и оживленной, объединит и подчинит себе всю Азию, а потом – и всю Россию, а потом – и весь прогнивший старый мир, ты слышишь, Дамби-Джамцан,

ты слышишь?!..» Я отмалчивался. Слова барона лились по моему лицу, по моему сердцу, как мед. «Ты сам можешь занять этот престол, Джа-лама, ты слышишь?!..отчего ты молчишь?!.. Отчего вы все всегда молчите, как Будды?!..» И я раскрывал улыбающийся рот и говорил: «Дорогой мой, мой великий завоеватель, мой ревельский барон, мой чудесный азийский грозный докшит! А почему бы тебе самому не попробовать влезть на этот сказочный, утраченный, призрачный престол? Вот он, рядом, маячит, качается над тобою на вершине горы. Барон Унгерн – владыка вся Монголии, Китая, Японии, Индии, Сибири... и Тибета!..» – «Да, и Тибета, – важно, радостно соглашался он, кивал головой, и бешеные глаза его красно горели, как уголь в паровозной топке. – Конечно, и Тибета, как хорошо, ты вспомнил про Тибет!.. Ты помнишь Тибет?.. Ты ведь там был когда-то послушником... в горах...»

Я понимал: барон и сам не прочь воссесть на легендарный трон.

Стать владыкой? О, великий соблазн.

Унгерн лишен соблазна. Унгерн одержим верой.

Он верит в священную мощь Азии, как азиаты верят в Будду.

Ширет, дай еще огня. И прикажи затопить печь. Теперь у меня есть дом. И я – владыка своего дома. Да, у меня тут, в Тенпей-бейшине, бывают гости. Иных я празднично встречаю. Иных и сам ловлю. Как рыбу. Как соболя ловят капканом. Человек поит верблюдов в моем водоеме – и я посылаю к нему торгутов, они заарканивают его и вместе с верблюдами гонят сюда, на Ма-Цзун-Шань. И теперь он пасет у меня скот. Мне люди нужны. Нужны рабы. Господа и рабы были всегда, как ни стремятся переиначить устройство мира. И барон это хорошо понимает.

А тот степняк, верблюжий пастух, попытался убежать от меня, пешком ушел в пустыню, прихватив с собой лишь фляжку воды, безмозглый, и торгуты его поймали, и притащили ко мне, трясущегося от ужаса, бледного как белая далемба, и, когда я приказал дать ему двести палок, он вскричал: «Да я же умру!»

Предательство карается, дурень. Оно карается жесточе всего, потому что это самый тяжкий земной грех. Верный не должен предавать. Верный – верен всегда. На то она и вера.

Унгерн, я не предавал тебя. Я просто отошел от тебя. Я приблизился к горам Тибета. Удары колокола из монастыря Дре-Пунья плывут над моей головой. Я сам себе владыка, слышишь. Мне не нужен престол Циней. Мне не нужны красные, они разносят опасную чуму безверия. Обижаешься, что и ты мне тоже не нужен?.. Я еще погляжу на твое поведение, барон. Если ты будешь идти тропой жизни, путем Дао так, как надо идти – радостно, осторожно и стремительно, – я снова примкну к тебе. Я еще воин. Я еще зол, и кровь моя солонa и жгуча. Я еще не ушел навек в обитель бессмертных.

Массивные каменные стены набычились грозно, восстав перед ними из красного песка, будто из-под земли. Монастырь? Крепость? Любой монастырь всегда возведен, как крепость. Монахам приходится отражать набеги. Так было всегда. Так всегда... будет?..

Мужчины спешили. Катя отерла ладонями с лица дорожный пот, сухую пыль, еще сидя верхом. Пряди золотистых волос прилипли к высокому крутому лбу. «Упрямыца, должно быть», – подумал Иуда, протягивая ей руку. Она, вспыхнув, опершись на его руку, спрыгнула с коня – и ощутила легкое пожатие его сильной изящной руки.

Она выдернула руку. Покосилась на Семенова, похлопывающего усталого коня по шее. «Бойся. Ей стыдно. Милая девочка. Как она пережила эту полковую подстилку Машку? И ведь

ни слова ему не сказала, голову на отсечение». Он представил себе, как Катя и его брат укладываются в юрте спать на верблюжью кошму, на сваленные в кучу шкуры. Его передернуло.

– Сейчас вы увидите знаменитого Джа-ламу, Катерина Антоновна.

– Знаменитого? Я не знаю его. – Она вела коня в поводу к воротам крепости. – Кто это?

Говорит он по-русски?

– Лучше нас с вами. Это зверь и царь. Это черный вихрь... монголы верят, какое-то по счету воплощение умершего двести лет назад джунгарского князя Амурсаны. А сам, между прочим, простой астраханский калмык Амур Санаев. А-мур-са-на, слышите созвучие? Вот это-то его и сгубило. – Иуда шел рядом с ней, ведя своего коня. Она слышала его дыхание. – Он назвался Дамби-Джамцан-лама, сокращенно Джа-лама. Здешний народ считает Джа-ламу сверхъестественным существом. Верят, что он бессмертен. Ну, умрет – так придет снова. В буддизме, Катерина Антоновна, смерти нет. Есть колесо вечных перерождений. Вот вы, например, умрете и превратитесь... ну, в собаку.

– Я? В собаку? – Она засмеялась. Солнце просвечивало насквозь ее волосы. – Уж лучше в лошадь!

– Хорошо, в лошадь. Но вы все равно, так или иначе, будете жить. А представьте себе, вы оживаете в облике богини?... или преступницы, убийцы... в тюремной камере... и сейчас опять должны умереть... а очнетесь – ура! – на царском ложе, под атласным балдахинном...

– Не морочь моей супруге голову, Иуда. – Семенов тяжело, как чугунный шар, обернул лысую голову, испепелил брата взглядом. – Скажи мне лучше, как мне быть. У меня из дивизии люди один за другим исчезают. Вот на днях подпоручик Зданевич пропал. А мы, между прочим, с ним немало водки выпили... Ванька Зданевич... свойский мужик. Зданевич, я уж все обдумал, не мог никуда убежать. Мы б его догнали, если что, если б он коня прихватил, да ведь и кто-то видел бы, украдкой такое сотворить трудно. И тело искали – нигде не нашли. Ты не сможешь мне найти его? Хоть живого, хоть мертвого?

– Постараюсь.

Они оба замолчали, и Катя удивилась: как это так легко муж попросил Иуду – «найди мне его»? Человек пропал, человека не отыскать, сейчас, в мешанине войны, где в мясорубке мелются кости и жизни, судьбы и души... да ведь наверняка убили... и сейчас только Бог один знает, где лежит тело этого несчастного подпоручика. Наивен ее муж! С него станется. Однако почему Иуда так просто дал согласие на поиски?

Ах да, он же проводник, землепроходец, он же знает, умеет... он же работал в экспедициях, у охотников... Трифон говорил – и в Тибете, служил шерпом у заграничных экспедиторов, делающих научные изыскания... он – профессионал...

– Я постараюсь, а почему ты меня раньше об этом никогда не просил?

– Дурак был. Да и думал: вернуться люди.

Они уже стояли у самых ворот монастыря.

И сверху, с небес, расплываясь густым золотым маслом в прозрачности морозного дня, забил, загудел большой монастырский колокол, и ему отозвались колокола помельче, позвончее, рассыпая остро искрящиеся снежинки лязгающих звуков: цзанг-донг, цзанг-донг. Иуда взялся рукой за огромное медное кольцо, ввинченное в ворота – такие кольца в Сибири вставляют в носы пырючим быкам, – и с натугой повернул. Высокие тесовые ворота открылись. Путешественники перешагнули порог.

Можно увидеть Джа-ламу? Можно. Кто вы? Казачий атаман Семенов, из Азиатской дивизии барона Унгерна. Со мной мой брат Иуда и моя жена Катерина. Великий Джа-лама знает меня хорошо, скажите только мое имя.

Катя изумленно глядела на мужа – она впервые в жизни слышала, как он бегло, без ошибок говорит по-монгольски.

Их на время оставили одних в комнате со сводами, совершенно пустой – ни стола, ни стула, ни кумирни, ни обычной статуэтки медного позеленелого Будды, сидящего со скрещенными ногами в позе лотоса. В комнате стоял еле слышный аромат сандала, и Катя втянула запах ноздрями. Иуда по-прежнему не сводил с нее глаз, и ей уже стал неприятен этот пристальный взгляд.

Немного погодя вернулся молодой бритый долыса лама в ярко-оранжевом длинном, до полу, одеянии, кивнул им, жестом пригласил следовать за собой. Они долго шли по узким, внезапно расширявшимся и опять сужавшимся коридорам, по переходам и каменным колодцам монастыря. Внутри он был огромен. Катя поразилась его величине. Наконец, после предупредительного короткого звона колокольчика, дверь открылась, и они вошли в большую комнату, скорее залу, где сидел на подобии деревянного приземистого трона человек с широким и толстым, как чудовищная маска, лицом, с чуть задранном широким толстым носом, лысый и безусый, с шеей, похожей на столб. Ослепительно-алая курма была распахнута у него на груди и животе, и поражало несоответствие его широченного одутловатого лица – и крепкого, с мощными мышцами, охотничье-поджарого тела. Закален в боях? Занимается китайским искусством борьбы вин-чун?

Семенов поклонился. Катя наклонила голову, прижав руку к груди. Иуда стоял неподвижно, его узкие глаза на смуглом лице насмешливо блестели.

– Мое почтение, великий Джа-лама, – сказал Семенов по-русски. – Не собираешься ли вернуться к великому белому человеку, сражающемуся за мировое владычество Азии? Унгерн в любое время примет тебя. Да ты, великий, видно, уже сам не захочешь. Окопался тут... в песках?... Мантры Будде возносишь?... Ом мани... падме хум?..

Широколицый человек на троне разлепил толстые бледные губы. Его темное лицо имело нехороший, сероватый и вместе болезненно-лимонный оттенок. «Почки больные», – безошибочно определила Катя. Иуда молчал, ждал.

– Это мое дело, кому возносить молитвы. – Русский язык Джа-ламы был правилен, с небольшим акцентом. Так говорили астраханские калмыки, жители Цаган-Амана. – Не суйся в мои дела, атаман. За приглашение спасибо. Я ведь тоже без дела не сижу. Я буду мстить красным безумцам до последнего, пока меня держит всемиловитый Будда в седле. Недавно набег сделал, напал на русский красный караван, – он усмехнулся, во рту выблеснули и свои, желтые, и искусственные металлические зубы, – ну, потешился... Почти всех перебил. Караван ограбил. Денег десять тысяч взял – кому поганцы везли? В Китай? Красный Китай сделать хотят, сволочи?! Шерсть кяхтинскую взял, пулеметов пять штук. Пять штук пулеметов – ты, атаман, понимаешь, что такое! Оставшихся в живых сволочей в плен взял. Убиваю поодиночке. Пусть пройдут бардо, очистятся кровью и возродятся в чистом обличье. А то уму-разуму учу, бамбуком. Вот двое таких остались. Эй!

Он резко хлопнул в ладоши. Вошли два ламы, на их слепяще-оранжевые платья были накинута густо-вишневые накидки. Джа-лама что-то сказал им на лающем, звенящем тибетском языке. Ламы исчезли. Вернулись вскоре, таща за собой упирающегося мужика. Мужик был весь в пятнах грязи, в кровоподтеках, с расцарапанной, будто лапой медведя, щекой, от него плохо пахло; он повалился в ноги Джа-ламе и дико завопил:

– Не губи! Смилуйся, государь!

Улыбка раздвинула толстые губы неподвижной маски. В толстой мочке золотым когтем блеснула серьга.

– Я не государь. Я Джа-лама. На красных работал? Гибель мира приближал?

– Да я, да я... случаем в обоз-то тот залетел... Да я их, супостатов, никогда!.. Да ни сном ни духом!.. Да будут они прокляты, изверги!..

– Я наказываю тебя во имя всемогущего Будды, – назидательно произнес Джа-лама и поднял палец. – Джамбалон-ван, всыпать ему пятьдесят палок!

Стоявший ближе к трону лама позвенел колокольчиком. В залу вошел солдат. В полной солдатской амуниции, в боевом облачении – Семенов аж вздрогнул. Рядом с ламами, с оранжевым шелком монашеских одежд, солдат гляделся устрашающе. Он был раскос и наверняка монгол. Второй лама, с поклоном, поднял с полу и положил в руки солдату черный полированный ящик. Солдат также поклонился и отшагнул обратно к двери. Встал на колени. Открыл крышку ящика. Снял слой синего шелка. Потом – красного. Потом – желтого. Потом вынул из ящика отполированную бамбуковую палку. Она лаково блестела. По ее внутренней стороне, которой наносился удар, тянулась вырезанная полая бороздка – для стока крови.

– Ох, не надо... Ох, смилуйся, батюшка! – Мужик, не стыдись, хрипло, подвывая, заплакал в голос. – Вот и конец мой пришел! Я ж как пить дать не выживу...

Раскосый солдат поднял палку. Ламы наклонились и разложили плачущего мужика на полу. Катя глядела, закусив губу. Зачем они сюда приехали?! Зачем Иуда их сюда привез? Почему этот бедный обозный мужик не сопротивляется, не борется, не бросается на мучителей, оскалившись, дико матерясь?! Уж лучше погибнуть в последней схватке, чем вот так, безропотно...

– Начинайте!

Джа-лама махнул рукой. Солдат взмахнул палкой и опустил ее на спину мужика. Дикий визг сотряс каменные своды залы. Джа-лама снова раздвинул губы в улыбке. Иуда оглянулся на брата и Катю.

– Уведи ее, Трифон, – тихо сказал он. – Я дождусь конца экзекуции и поговорю с Джа-ламой. Нам надо поговорить. У нас свои важные дела.

– А у меня – нет?! – крикнул Семенов.

Подхватил под руку Катю, поволок к выходу из залы.

Снова человеческий визг прорезал мертвую тишину.

Когда они оказались за толстой дверью, срезанной из столетнего тибетского кедра, Катя, задыхаясь, со слезами на глазах, спросила:

– Триша, он... умрет?.. Они забьют его до смерти?..

– Может быть, и нет. Они знают искусство порки в совершенстве. Они могут сделать так, что мясо на спине будет отставать от костей, но сам ты останешься жив.

У Кати потемнело в глазах, подкосились колени. Она упала в мгновенный, постыдный обморок, и Семенов еле успел подхватить ее.

* * *

Выглянуть в окно. Почтальон не приходил, писем нет. Ни из России, ни из Китая... ни из Англии... ни из далекой Америки. А уже ведь начинается зима. Она здесь не похожа ни на сибирскую, ни на петербургскую. И на московскую, с голубым снежком на золотых куполах, с голубями на пряничных карнизах старых домов и побеленных к прошлой Пасхе церквей, с криками: «А вот сбитню!.. А вот сбитеньку горяченького!..» – она вот уж никак не похожа. Где те сбитенщики, где те беспечно воркующие голуби на застрехах?.. В Москве стреляют. В Москве, красной столице, наново перекраивают мир. Маленький лысый человечек командует кройкой и шитьем. А здесь, в Азии, портновские ножницы в грубой руке держит – кто?

Ах, Егор Михайлыч, сам ты знаешь, кто. Знаешь – и молчи, улыбайся.

Кого видать издалека, а кого – и из подполья не вытянешь без молитвы. Кто назвался груздем – не обязательно полезет в кузов, ты-то уж знаешь это, Медведев. Почтальона нет – надо ждать посыльного.

Ты исчез вместе с теми, кто исчезал. Ты исчез – и нет тебя. И делу конец.

Сказке конец, а кто слушал, молодец. Он погладил ладонью лоб. Сменить имя – освободить себе руки для деяния. Если хочешь, чтобы тайное стало явным, сделай из явного – тайное.

«Ты рассуждаешь уже как туманный буддист, Егор». Он ткнул указательным пальцем сползающее с носа пенсне, снова уставился в карту Центральной Азии, лежащую перед ним под тускло горящей лампой, под красным, как в борделе, абажуром на широком, будто плот, столе.

Носков. Носков и Биттерман. Отличная парочка, гусь да гагарочка. Купец все отлично понимает, для монголов, китайцев и шляп-русских он – ловко обтяпывающий дела торговец, и только. Носкова не надо учить жить. Он быстро, умело и отчаянно копает под того, кто его уже прикормил. Унгерн думает, что он Носкова и впрямь прикормил. Наивный белоглазый щенок! Развел вокруг себя шпионов, в Пекин Криса Грегори заслал, Грегори исправно пишет генералу из Пекина, да, генералу Унгерну собственной персоной, все в подробностях, старательно описывает, всю обстановочку, да вот беда-то, письма Грегори сначала к нему, к Егору, попадают, и он их читает, чуть не со смеху покатываясь, – верный человек доставляет, верный, щедро прикупленный! – а потом, вновь тщательно запечатанные, замазанные горячим свежим сургучом, отправляются – с тем же верным конным нарочным – к дураку барону. Как жаль, что убили его прелестную жену-китайку. Ли Вэй, по-православному Елена Павловна, запряженная в тележку шпионажа, могла бы, как хорошая лошадка, вывезти ее на арену мирового цирка. Не получилось из Елены Павловны Мата Хари. Ее даже не нашли, не похоронили – ни по русскому, ни по китайскому обряду. Нельзя так опрометчиво отпускать после развода от себя своих жен, барон, на все четыре стороны. Их надо пасти на хорошей, жирной травке, даже если они уже не принадлежат тебе.

Хорошо. Так, хорошо. Носков, Грегори, Биттерман. Отличная троица, и за каждым – деньги. Очень большие деньги.

Очень большие деньги... О-о-о-о-очень больш-и-и-и-ие де-е-е-е-е...

Он на всю жизнь запомнил, как в Москве, еще молодым студизусом, после лекций профессора Гаревского в Университете, он шагал с Птичьего рынка, держа в руках, прижимая к потертому пальтецу клетку с ярко-синим заморским попугаем, купленным у старика-художника, площадного пейзажиста, горького пьяницы, по дешевке, всего за полтинник, – а навстречу ему шагала, вывертывая задик направо-налево, кокетничая напропалую с каждым встречным-поперечным, Анночка Извольская, что училась в Екатерининской женской гимназии, – ах, как он когда-то был в нее влюблен, в Анночку, просто до умалишенья доходил! стреляться хотел! – под руку с высоченным, надменного вида фертом, одетым с иголочки, сейчас ото всех модных портных с Кузнецкого моста; ферт сложил тонкогубый рот подковкой, увидав Егора, брезгливо поправил бобровый воротник роскошной шубы, он был по виду старше Анночки лет эдак на двадцать, а то и на все тридцать. Анночка защебетала: «Как ты, Егорушка, как твои успехи, как твой Университет?.. Как матушка?.. Братец?.. А я вот...» Седовласый ферт в бобровой шубе одернул ее за руку, будто бы она была кукла, его вещь. «Идем, Анна. У нас нет времени». Анночка тут же сделалась такой же холодно-надменной, как ее кавалер, высоко вздернула маленький носик, тряхнула локонами и пропищала: «Ну все, Медведев, прощай! Учись, радуй господ профессоров!.. А мы пошли получать очень большие деньги!» Она еще выше задрала русокудрую головку. Богатый старый господин крепко подхватил ее под руку, испепелил бедного студента взглядом и потащил за собой Анночку, как на вожжах. В волосах Извольской сверкнула брильянтовая заколка, и он понял – она в такой мороз, и без шапки, форсит, брильянтами кокетничает. А муфточку к груди, как котенка, прижимает.

Седой старик оказался Анночкиным мужем, богатейшим банкиром Николаем Ростовцевым. Банкир убил Анночку на званом ужине в доме графини Шуваловой из пистолета. За то, что она, молоденькая девочка, от него, старого хрыча, посмела завести себе молодого любовника, артиста Малого Художественного театра.

Очень большие деньги. *Мы идем получать очень большие деньги.*

Очень... большие... деньги...

Он стоял тогда с синим попугаем в клетке в заолодавших без перчаток руках, глупо, молча стоял, опашнутый невыносимым запахом богатства и успеха, и все повторял про себя, как попугай: мы идем получать очень большие деньги, большие деньги. Он не замечал, как слезы текут по его лицу, застывают на ветру, превращаясь в ледяные тяжелые капли. И попугай раскрыл клюв и неожиданно галантно проскрипел: «Pardonnez-moi, monsieur, pardonnez-moi». Старый художник, изрядно откушав домашней сливовой наливки и просто беленькой, акцизной, ночи напролет говорил со своей старой птицей по-французски. Должно быть, художник в свое время жил в Париже, посещал мастерские Одилона Редона и Клода Моне.

Очень большие деньги. Эти слова разрезали его тогда пополам. И он поклялся себе: он станет взрослым и сильным и научится крепко держать вожжи колесниц, набитых очень большими деньгами. Он станет управлять миром через деньги. Так же, как тот важный банкир Ростовцев – его посадили в Бутырскую тюрьму за убийство жены, потом он пошел на каторгу, на Камчатку, но ведь играл бы в большие деньги, если бы не прикончил Анночку, играл бы! И он, Егор, будет играть! Только еще виртуознее. Еще хлеще. Еще смышленее.

И грянуло время, что грубо раскрыло перед ним сундук с ужасами и кровью вперемешку с очень большими деньгами. Деньги можно было ловить в мутной воде, как рыбу. Деньги можно было делать на смерти, на страхе и крови. Их можно было отбивать, как мячи, и посылать в лузу, как бильярдные шары. Русские деньги?! Ерунда. Их, по сути, уже не было. Золотой червонец – это да, золото никогда не обесценится, оно есть вечное сокровище. А вот доллары – это валюта. Фунты стерлингов – это валюта. Марки – это валюта. Иены... Японцы обещают невиданный взлет иены, если Унгерн восстановит Циней и возьмет под крыло Японию. Слепой сказал – посмотрим. Биттерман, Носков, Грегори. За Биттерманом и Грегори – доллары и фунты. Носков набит золотыми червонцами, как запечный чулок, под завязку. Он с ними дружит. Для переворотов нужны деньги. А потом деньги окажутся нужными для жизни. Для жизни – где? Где ты будешь жить, богач Медведев, потом, когда все закончится? А закончится ли? Эта война будет вечной, разве ты этого не понимаешь?

Он взрогнул всем телом от внезапного стука. Красный свет заливал разложенную во всю ширь стола карту. Абажур слегка покачивался на сквозняке. Он встал, пошел к двери. Привычно крикнул:

– Доктор Чан?..

«Отборный юньнаньский чай с жасмином, лавка Лыкова...» – услышал он знакомый ответ. Зашелкал замками. Поежился от ветра, налетевшего в дверь. На пороге стоял молодой, русоволосый офицер, улыбался, его светлое, словно высвеченное изнутри восковой свечой, лицо с аккуратно подбритой бородкой и золотыми блестящими усами будто летело впереди него. До чего похож на убитого Царя – две капли воды. Офицер плотно закрыл за собой дверь, его улыбка в полутьме сеней вспыхнула, погасла.

* * *

Он дунул на догоравшую свечу, прижал пальцем огарок фитиля. Чиркнув спичкой, зажег другую, воткнутую рядом не в подсвечник – в сломанную изогнутую железную шпору.

Внутренность юрты была темна и угрюма, как его думы. Свечное пламя озарило яркие танки и призрачно-самоцветные мандалы на стенах, золоченые ободы Колес Жизни, вызолоченные черепа на шеях Памбы и Махагалы. Прямо перед столом, на настенном монгольском ковре с узором из загнутых, похожих на бегущих жуков, крестов – «суувастик», висело тяжелое медное Распятие. Медный Иисус отвернул от него лик, искаженный, исполненный невыносимой муки. Он поднял руку и тихо коснулся пальцем прободенного копьем бока, медной набедренной повязки. Иисус пострадал за Будущее. Ты тоже страдаешь за него.

Он быстро, как зверь, обернул голову к двери юрты – на шорох. Нет, показалось. В юрту могут заползать мыши. И у входа стоит часовой. Часовой должен охранять командира, не правда ли? Или спать, что уже преступление. Да на морозе не очень-то заснешь. Стоит в остоверхом башлыке, греет руки. Может, курит. Дымком потроха согревает. В два часа ночи, в Час Быка по-монгольски, его сменит другой солдат.

Он не может писать. Думы нахлынули и захлестнули его. Надо думать. Надо думы все, до дна, насквозь, ВЫДУМАТЬ, чтобы работать. Он работает по ночам – а когда же еще? Оставить мысли тому, кто придет после тебя. Наивное, жалкое желание человека-дурачка, думающего, что все, наработанное им, пригодится кому-то потом, после него. Все сгорит в диком пламени, в огне Последнего Пожара. «*Страшный, ярко горящий, как Предвечное Пламя при Конце Мира...*» Ламы поют этот древний гимн. И будут петь. Здесь все, как тысячи лет назад.

Он обхватил голову руками. Он часто делал так, когда думы осаждали его. Лица, лица, лица проходили перед ним, вились вокруг него хороводом. Он закрыл глаза рукой. Ральф Унгерн, мальчик, отрок. Он глядел на него из тьмы веков огромными, очень светлыми, как у него самого, глазами. Ральф, погибший под стенами Иерусалима в Третьем Крестовом походе. Ему было одиннадцать лет. Одиннадцать лет прожить на свете – много это или мало? Маленький Ральф слышал звон мечей, лязг топоров. Он умер в бою. В битве при Грюнвальде погибли двое Унгернов. Вот из открытого забрала глядит веселое, бандитское лицо, обросшее сивой щетиной. Губы пахнут вином, глаза дикие, бешеные, зубы блестят, как у людоеда, а красив, собака, дьявольски красив. Генрих Унгерн-Штернберг, странствующий рыцарь, победитель турниров во Вьенне и в Страсбурге, во Флоренции и в Лондоне, певец-миннезингер, певец любви. Как он любил узкоглазую молчаливую девочку с далеких островов Великого Океана, привезенную на кораблях в Севилью! Генрих увидел ее в Севилье близ Хиральды, белой башни с лебединой шеей, и влюбился без памяти. Он женился на ней, а через полгода бросил узкоглазую смуглянку ради состязаний певцов в Кадиксе, ради скитаний и иных любовей – и погиб в сражении: противник, бешеный испанец Федерико, разрубил ему шлем вместе с головой. А смуглянка? Что смуглянка? Смуглянка заплакала и вышла за другого. А может, ушла в монастырь. А может, умерла. Умерла от тоски. От любви к тому, кто ушел навсегда.

Лица, лица, лица. Вереница лиц. Уходите, люди. Исчезните, предки. Сгорите в предвечном огне. Вы мучите его. Уйди, Вильгельм Унгерн, «Брат Сатаны». Сгинь, Отто-Рейнгольд-Людвиг, морской разбойник, корсар, ты видел Индию, ты видел Мадрас, а я еще Монголию от края до края не прошел. Ты убил много людей, Людвиг; я тоже убил много людей. Я наследую вам всем. «ЗВЕЗДА ИХ НЕ ЗНАЕТ ЗАКАТА».

Запад достиг высшей точки пути. Перевал пройден. Запад клонится вниз. Русская революция – начало Конца Мира. При Конце Мира много огня вздымается ввысь, в черное ночное небо. И он, наследник Унгернов, должен как можно жарче развести этот огонь.

Огонь. Огонь. Он глядит на свечу не мигая. Белое пламя застывает в его неподвижных глазах. Губы улыбаются. Он улыбается редко. В дивизии люди не видят его улыбки. Вождь не должен улыбаться. Вождь должен помнить: сотри разрушенное, дьявольское, грязно-красное бестрепетной рукой, затяни петлю на шее врага. Только так ты очистишь землю от грязи. Монголам суждена великая миссия. Ты встанешь во главе диких народов – они-то и есть самые мудрые, – и поведешь их на погибающий Запад. И Европа, как покорная корова, ляжет к твоим ногам.

Чингис? Почему нет?

Закурить. Табак? Нет, другую трубку. Его тайную. Его... сумасшедшую...

Он поднялся, выгнулся, доставая пальцами до висящей на рыболовной нити под потолком деревянной полки-люльки. Вынул оттуда длинную, как флейта, трубку, лакированную, блестящую. Положил на стол; пошарил в ящике стола, отодвинув маленький револьвер, вытащил коробочку. Открыл крышку. Тонкой палочкой подцепил из коробки тягучий темный,

словно смоляной, шарик. Положил внутрь трубки, зажег спиртовку, стоявшую тут же, на столе, рядом с рукописями. Пламя спиртовки забилося, свечное пламя вздрогнуло, ответило ему. Он поднес смоляной шарик к огню, потом сунул в трубку. Быстро, судорожно затянулся. Глотнул дым. Сомкнул веки. Ну, где же ты, Ли Вэй. Теперь – иди.

Иди ко мне.

Из тьмы, из тумана выплыло, дрожа, вспыхивая и угасая, плывя в сторону, исчезая и опять появляясь, нежное лицо. Овал щеки. Улыбка. Сначала он видел только улыбку. Тонкие губы, изогнутые нежно и печально. Два лепестка. Губы-лепестки, они так томительно пахли. Магнолия?.. Акация?.. Потом он увидел глаза. Две узких черных рыбки, они мелькнули перед ним, закрылись, тень от ресниц легла на прозрачные щеки. Призрак, ты мил. Ты так мил. Дьявол тебя задери, призрак, уходи. Он снова глубоко вдохнул опийный дым. Я хочу тебя, я тоскую по тебе, я не могу жить без тебя. Иди ко мне.

Платье скользнуло вниз. Тончайший шелк, ах, твою мать, я же сам его покупал в лавке у Су Ши. Гладкая кожа руки рядом. Да, он явственно видел руку, ощущал тепло, струящееся от голого плеча. Под приподнятым локтем круглилась маленькая смуглая грудь. Чечевица соска торчала дерзко, и ему смертельно захотелось взять ее губами, лизнуть языком. Еще глоток дыма, еще. Белое пламя спиртовки освещало снизу, вкось ее маленький круглый подбородок. Ее закинутую шею. Веки дрогнули и раскрылись, как раскрываются цветы. Ее узкие глаза внезапно укрупнились, сделались темными, пугающе-большими. Ты только притворялась китайской, Ли Вэй. Ты притворялась принцессой. На самом деле ты – дочь китайского лавочника с Маймачена. И я попользуюсь тобой и брошу тебя. О, ужас, я слишком желаю тебя. Я окрестил тебя перед свадьбой. Я возложил тебя на ложе христианкой, не дочерью Востока. А ты шептала мне, как дура: я Елена Павловна, зови меня Елена Павловна, я хочу быть русской, как и ты. Это я-то – русский?! Он сжал длинную, как флейта, трубку в кулаке, чуть не сломав полированное дерево.

Женщина – творение Господа лицемерное и продажное, женщина – кимвал бряцающий, кумир повапленный. Женщина блестит дешевой сладкой позолотой, а за спиной у мужчины обманывает его, строит ему куры, во все горло хохочет над ним. Я не хочу, чтобы ты смеялась надо мной, Ли Вэй. Твоя грудь...

Он резко наклонился. Под его губами оказалось мягкое, маленькое, круглое. Он всосал, выбрал в себя ее крохотную грудь, и его рот стал им самим – он, превратившись в свой рот, целуя и всасывая, не помнил уже ничего. Он превратился в ласку, лаская. Так учат китайские трактаты. Так учит Лао-цзы, Великий. Лао-цзы, почувяв приближение смерти, сел на священного синего быка и ускакал навек за перевал в Страну снегов. Будь лаской, лаская, напоследок сказал Лао Цзы, будь любовью, любя. Под его руками стал таять снег ее груди, ее талии, ее бедер. Бедра. Прижаться к ним. Чьи руки расстегивают его брюки, стягивают портупею? Под его напрягшимся животом, под его ставшей каменной грудью билось, плыло нежное, женское, призрачное. О как же я хочу тебя, призрак. Я умру, если сейчас не войду в тебя.

Он закинул голову. Нежное лицо, похожее очертаниями на дынную косточку, медленно наклонилось к нему. Раскосая девушка закрыла глаза. Ее губы, встретив его рот, вспыхнули белым пламенем спиртовки. Он вдохнул пламя. Он проглотил пламя. Он, раскрыв рот, жадно целуя ее, весь обратился в пламя. Так учили философы: стань тем, что ты делаешь. Под его рукой вздрогнул сорванным цветком живот, раздвинулись ноги. «Как китайские палочки для еды», – смутно, весело подумал он. Рука, обрета глаза и все пять чувств, ощутила под собой, увидела и услышала под пылающей кожей пальцев и ладони жар сердцевинки цветка. Женщина – цветок, не верь никому. Она не сосуд скудельный. Она – нежный лотос, алый махровый пион, и в ее сердцевину погрузи руку свою, лицо свое, Нефритовый Пестик свой. А меч свой – тоже погрузи?! Убей, убей ее когда-нибудь?! За то, что она... убила тебя...

Я не хочу, чтобы ты смотрела на другого. Я не хочу, чтобы ты принадлежала другому. И потому я убью тебя. И потому я отпускаю тебя на свободу.

Его палец нащупал в ее горячей, трепещущей глубине круглый крохотный катышек-жемчуг. Китайки любят жемчуг, о да. Я никогда не дарил тебе украшений, потому что ты носишь драгоценность внутри себя. Розовый жемчуг, я буду ласкать его языком, пальцами, Твердым Нефритом. Я умру от радости, когда войду в тебя. Дай. Дай мне!

Прямо под его вздыбленной, железно восставшей плотью оказалась ее раскрытая, жарко-алая, содрогающаяся в томлении цветочная мякоть. О, сколько жен солдат, офицеров, казаков в его Азиатской дивизии он приказывал сечь за разврат, за супружескую неверность, за сплетни, за наветы, за обман, за ругательства прилюдные. Истязуемые женщины кричали, как кричат в любви, на ложе страсти, содрогаясь, и он содрогался от этих криков, и улыбался, и закрывал глаза. Он был для его людей Богом. Он был для женщин карающим Махагалой. И никто не знал, что он исходит нежностью и болью, что он весь – боль, боязнь и нежность. Прижавшись к теплоте, нежно-текучему, он, как слепой щенок, тыкался во тьму, пытаясь найти, пронзить, ударить. Все ускользало. Она, обвивая его и прижимаясь к нему, закидывая руки ему за шею, обнимая его ногами, раскрываясь перед ним и дразня его своей раскрытой красной раковиной, отодвигалась, отшатывалась, таяла. Ты моя! Иди же! Ты моя всегда. Нет, я не твоя, ты же сам меня прогнал. Ты же сам велел мне исчезнуть. Я, слабая женщина, лишь исполняю волю моего мужчины, повелителя.

Он крепко схватил ее за плечи – и плечи поплыли под его руками мягким горячим воском. Дым окутал их лица – живое и призрачное. Призрачное лицо поделилось надвое, натрое, вот уже хоровод лиц снова вился, мелькал перед ним. Он застонал, заскрежетал зубами. Сжал кулаки. По его небритым щекам из-под сомкнутых век текли мелкие слезы. Трубка с недокуренным опиумом валялась на полу. Он открыл глаза. Одежда его была расстегнута, португепя мертвой змеей лежала у ног. Он наклонился, поднял трубку. Спиртовка догорала. Он застегнул медные пуговицы на гимнастерке. Его губы дрожали. Его нутро дрожало. Он грубо, солено, по-солдатски выматерившись, насмеялся над собой: ишь, бабы захотел, обкурился. Еще раз полез в ящик стола. Там, глубоко в ящике, за револьвером, за книгой Нострадамия «Центурии», там... Да. Есть. Он вытащил маленькую железную шкатулочку, ногтем оторвал крышку с вязью тибетских иероглифов. Высыпал на ладонь крохотные, величиной с зернышко проса, серые, будто серебряные, шарики. Взял осторожно пальцами один. Отправил в рот. Так, под язык, да, отлично. Закрыв шкатулку. Откинулся на спинку стула. Закрыв глаза. Теперь ты не придешь, принцесса Ли Вэй. Ты не придешь, узкоглазая лавочница с фарфоровыми губками. Придут докшиты. Все восьмеро: Махагала, Цаган-Махагала, Эрлик-хан, Охин-Тэнгри, Дурбэн-Нигурту, Намсарай, Памба, Жамсаран с гулками звонкими черепами вокруг шеи, с огненным языком.

Подглядывающий

*Сколько бы ни было существ,
рождающихся из яйца,
рождающихся из утробы,
рождающихся из сырости,
мыслящих и немыслящих,
всех должен я привести в нирвану без остатка
и уничтожить их.*

«Алмазная Сутра»

Казак Осип Фуфачев мыл поутру Катиного коня. Катя помогала солдату – подтаскивала нагретую воду из чана. Воду в больших чанах с Толы возили на телеге дневальные либо офицерские денщики, хотя не раз избирали среди солдат водовоза, да он выдерживал недолго: тягомотная это была работа, надрывно-тяжелая – потаскай-ка чаны с водой в одиночку, вода тяжелее гирь Ивана Поддубного покажется! Осип Фуфачев старательно мыл, скреб Гнедого; от коня, от его лоснящихся, вздрагивающих шелковистых боков, от крупа и груди шел пар; обернув потное, блестящее на солнце, будто вытесанное топором, крупноносое, крупногубое, доверчивое лицо к Кате, стоявшей перед ним с подоткнутой юбкой, Осип проронил раздумчиво:

– А куда-й-то у нас пропадают люди из лагеря, слышали каво-нить такое, Катерина Антоновна? Догадки у вас какие имеются ай нет?.. Исчезает народ православный, да и энтих, раскосых кошек, как корова языком слизывает – вот тебе и без вести пропал солдат... или там офицер... а боя-то нет! Чай, не на фронтах мы!.. отдыхаем покамест... Выжидаем... И добро бы в битве люди-то полегли!.. прям как хлебные крошки, их кто невидимый р-раз – и стряхнет... или – склюет... Вы каво про это все прикидываете, а, Катерина Антоновна?.. Может, сами слышали каво...

Это сибирское словцо «каво» вместо «чего»... У Кати весело приподнялись уголки губ.

– Не «каво», а «что», Осип. Ты говори правильно, пожалуйста.

– Ну вот я и баю – каво... што вы слышали про то, куда народ пропадет?..

– Думаешь, со мной Трифон Михайлыч чем на сон грядущий делится?.. Да не разговариваем мы ни о чем!.. устает он... валится как сноп...

Осип потрепал по холке коня.

– А знаете, Катерина Антоновна, кто позавчера исчез?.. Нет?.. Алешка Мельников. Да и кому нужен, спрошу я вас, простой солдат?.. Вот я понимаю, Зданевич пропал, это да... тот хоть подпоручик, белая кость, кровь голубая... а Алешка... Кому спонадобился Алешка, бедняга, пес его разберет!..

Катя подошла к коню, погладила ему морду, конь показал длинные желтые зубы, тихонько заржал. Катя вынула из кармана юбки корку хлеба, с ладони скормила коню, чувствуя кожей прикосновение нежных осторожных губ. Она вздрогнула. Она никому не сказала – и Семенову тоже, – что с ней рядом ночью в степи скакал Ташур и нагло поцеловал ее.

– Мы все кому-то нужны, Осип. Спасибо, голубчик, ты чисто вымыл коня, хоть в Малахитовый зал, в Эрмитаж.

– А каво ж такое, барышня, Имиташь?..

Сперва за пропавшими снаряжали погоню. Все было напрасно. Степь на десятки миль вокруг была пуста. В Ургу беглецы не смогли бы добежать, когда их спохватывались – Урга была слишком далеко, а степь просматривалась хорошо, особенно в ясные дни и лунные ночи. Об исчезнувших в дивизии стали ходить жуткие слухи, страшные домыслы. Русские суеверья мешались с восточным поклонением знаку, примете, предчувствию.

Иуда Семенов нынче сам прибыл из Урги к барону. Низко поклонившись у открытого входа в командирскую юрту, он вошел. Барон махнул рукой; Бурдуковский закрыл над входом кожанный полог. Никто не слышал и не видел, что делается внутри юрты Великого цин-вана.

Ганлин играет

...а еще я люблю Свет.

Свет, чистое пламя. Свет, честь и ярость. Свет, умиротворение. Свет, возникший ниоткуда и уходящий в никуда. Свет, идущий сквозь нас, безумных и грязных, – чистый и мощный, да омоется в нем всякая нечисть и всякая благая тварь. Свет нетварный. Свет, который и есть Будда.

И Христос Светом тоже питался; и обнял Свет, когда умирал.

Когда Он воззвал к Отцу: «О, зачем Ты оставил Меня?!» – чистый Свет явился Ему во всей силе и правде своей. И Он понял: Он не один.

Я люблю Свет; я знаю – есть ярко горящее Пламя.

Пламя, что однажды сожжет все. Все сущее. И ничто, никто не остановит его.

Кто может меня остановить?! Люди?! Этот... вот этот, с улыбкой, изогнутой аратским луком...

– Я буду брать Ургу. Есть определенные действия, кроме военных, которые необходимо выполнить. Богдо-гэгэн спрятан сейчас с женой, с Эхе-дагини, во дворце на берегу Толы. Я хочу похитить его и его супругу и унести наверх, на гору Богдо-ул.

– Что ж, разумно. Захватить владыку, чтобы захватчики вострепетали?

– Захватить более чем владыку. Монголы свято верят, что на вершине Богдо-ула живет дух Чингисхана, и Будда иногда приходит к нему в гости.

Иуда опустил голову. Потом вскинул опять. Унгерн прямо, пригвождающим, пробивающим как гвозди взглядом уставился на него.

– Не совсем понимаю, Роман Федорович.

– В таком случае ты глуп, Иуда.

Это его «ты», которым он тыкал его, как штыком. Иуда дернулся. Приходится терпеть фамильярность. Он – брат Семенова. Семенов – «alter ego» барона.

– Возможно. – Керосиновая лампа горела ровным бело-желтым светом, напоминая огромный пульсирующий опал. – Вы унесете властительных супругов на вершину Богдо-ула, и все, и монголы и китайцы, поймут, что их похитил и взял к себе сам Чингис? Или...

– Сам Будда, совершенно верно. А притворяешься гимназистом. – Унгерн сухо хохотнул, раскурил трубку. Иуда последовал его примеру. Они оба густо, нервно дымили, юрта вся мигмом наполнилась сизым табачным туманом. Унгерн разогнал дым рукой, остро глянул на Иуду. – Мой шпион в Пекине, Грегори... ты, кстати, знаешь его?..

Улыбка вместо ответа, так, кажется, принято на Востоке.

– Грегори считает, что в отношении китайцев это весьма мудрый ход. Здесь все построено на мифе, Иуда. На мифологии. А миф – это, запомни, самое живое, живучее, как кошка, создание из всех созданий на земле. Человек – это мумия. Миф – это живая плоть. Исполняя угрозу мифа, ты обретаешь жизнь вечную.

– Христианство наоборот, – Иуда покривился, тут же заставил застыть лицо, едва увидел, как в слегка выкаченных белых глазах главнокомандующего вспыхнул призрачный бешеный огонь.

– В мире все наоборот, Иуда, ты хоть немного понял это?..

Глубокие затяжки. Пальцы, обнимающие трубки, – худые, нервные, с вспухшими суставами фаланг у Унгерна, смуглые, цепко-сильные, – у Иуды. Перестрелка глаз. Глазами можно все сказать. И так, штурм Урги. Давно пора. Солдаты застоялись, командиры тоже. Ну, успешно закончится штурм, а далее – что? А далее... Иуда охватил глазами длинную фигуру в медово-желтой курме, с серебристо-блестевшим Георгиевским крестом на груди. Этот сумасшедший

не остановится ни перед чем. Перед тем, чтобы сделать себя владыкой Монголии – тем более. Он только к этому и стремится. Ему кажется – он исполняет миссию. Это его собственный, личный миф. Это его игрушка, цацка... его ламские четки. Он готов перебирать их бесконечно.

– Я понял, командир.

– Не командир, а цин-ван, говорю тебе. Ты сможешь мне захватить царственных супругов?

– Вы сомневаетесь?

– А твои люди? Я знаю, что у тебя есть свои люди в Урге. Семенов мне намекнул. Не вздрагивай, я не против. Твое дело. Если тут пахнет предательством – я расстреляю тебя на месте. Я давно бы расстрелял тебя на месте, Иуда, если бы тут пахло предательством. Но ведь ты не предатель, Иуда, правда?

Он смеялся. Да, он смеялся. Иуда, почувствовав, как охолодели и окаменели внутренности и само сердце, сухо, будто горох рассыпался, рассмеялся тоже. Потом настала тишина.

Тишина и табачный дым. И огонь керосиновой лампы.

– Я не предатель.

– Вот и хорошо. Скажи мне тогда, что ты думаешь об исчезновении людей из лагеря? Это происки китайцев? Или это монгольские разбойники орудуют? Ты знаешь, Иуда, я не верю в монголов-разбойников. Монголы – сакральная нация. Они бы не могли так поступать со мной. Кто так поступает со мной?! – внезапно завопил он и сжал кулаки. Иуда подобрался, как для прыжка. Ему показалось – барон сейчас, как волк, бросится на него. – Кто, я тебя спрашиваю?!

– Успокойтесь... цин-ван. – Иуда сделал последнюю затяжку, потушил трубку, примял ногтем пепел в деревянной чашечке. – Это не монголы. Это ваши враги, разумеется. У такого, как вы, не может не быть врагов. Вы же сами это знаете.

– Да, я знаю. – Он по-петушиному, судорожно, взбросил голову, с закинутого лица, из-под прикрытых век, надменно-испуганно глядели, метались светлые зерна глаз. – Сможешь помочь мне? Отыскать убийц? Отловить их?.. Убийцу, ежели он – один?..

Если ты промедлишь с ответом – ты проиграл. Таков закон игры с бароном. Те, кто медлил или выжидал, проигрывали всегда. Он-то сам мог тянуть волынку сколько угодно. Ему это только шло на пользу.

– Я согласен. Но мне нужен помощник. Один из ваших солдат. Проворный, быстрый, смекалистый. И храбрый. Прежде всего – храбрый.

– Возьми Фуфачева, он понятливый. Молодой мужик, казак, храбрый до отчаянности. Проверено. И оружием владеет хорошо, сноровисто. И в лошадях знает толк. На коне пробежится по любому болоту, по трясине, над пропастью по горной опасной дороге, где никакое авто не пройдет.

– Хорошо. Возьму, если рекомендуете.

– Больше ничего, никого не нужно? Говори сразу.

Иуда внимательно смотрел в лицо Унгерну. Командир сегодня был чересчур бледен, до лимонной желтизны, его щетина уже превратилась в небольшую колючую бородку, видно, он неумело, коряво подбривал ее опасной бритвой. Глаза горели белым пламенем спиртовой горелки под выцветшими на гобийском жестком солнце круглыми совиными бровями. У него был вид смертельно невыспавшегося человека. В юрте командира стоял стол – у единственного в дивизии. На столе в беспорядке лежали исписанные листы бумаги. Интересно, подумал Иуда, беллетристкой балуется – или военные приказы пишет? Скоро в поход? Урга будет взята – пора идти на север, в Сибирь, на красных?

– Ничего, Роман Федорович.

– И оружия не надо?

Иуда помолчал. Белые глаза Унгерна вспыхнули болотным, зеленым.

– Нет. Не надо. Оружия предостаточно.

– Откуда же у тебя оружие? И где оно? В Урге?

– В Урге. Поставки купца Носкова. Носков напрямую связан с англичанином Биттерманом, который и поставлял оружие прямо в Ургу, минуя красных, и в Японию. Из партий оружия, полученных через Биттермана, я лично отправил сюда, вам, в ставку, сто винтовок и семь пулеметов.

Унгерн с минуту глядел на Иуду недвижными, расширившимися светлыми глазами. Потом улыбнулся.

– А, это тот, Биттерман, да, да, помню, дьявол задери. Да, помню, конечно. По Чите еще помню. Пройдоха, английская собака, вислоухая легавая. Но дело знает туго. И ты тоже знаешь дело туго. И этого... Носкова... помню. Жулик, правда, и беспощаден, деньги вытрясет из нищего на паперти. Монголы зовут его «орус шорт». Я тобой доволен, Иуда Михайлыч. Ты безупречен. Атаман не говорил мне, что это оружие ты передал.

– Атаман правильно сделал. Сражаться с красными – это не мое личное дело. Это наше общее, святое дело.

Иуда вернул барону столь же пристальный взгляд.

* * *

Владыка шел по темному коридору дворца. Часы, многочисленные дворцовые часы, все по-очереди, наслаивая друг на друга то раскатистые, то нежно-медовые, то устрашающе-мерные, тяжелые как судьба звоны, били поздний час. Одиннадцать ударов. Одиннадцать. Еще полночи нет, Богдо-гэгэн. Еще нет полночи. Гляди, огромные холодные звезды в окне. И ты во дворце, в своем дворце. В одном из своих дворцов. Но ты – птица в золотой клетке. Китайцы позволили тебе жить во дворце, но твоей страной правят они... республиканцы.

Мир сгорит в огне, разве ты не знаешь древние предсказания? В огне революций или в огне гнева Будды – это уже не твое дело. Не людское это дело, владыка, хотя ты знаешь, что все людские дела делают люди.

Люди делают тебе, владыке, вкусную еду. Люди делают тебе и твою любимую... водку... а-а-а-ах...

Водка, водка... Выпить... Он тихо ступал по коридору в своих расшитых золотой нитью домашних туфлях. Эхе-дагини вышила на бархате туфель старинный тибетский иероглиф, означавший: «РАДОСТЬ ВЕЧНА». Радость? Да, радость. Его радость – веселящий напиток, белый, прозрачный, безумный. Когда сибирскую, привезенную из Иркутска, с Алтая или из Кяхты водку наливали ему в маленькую прозрачную хрустальную стопку или в золоченую чашу, он радовался как ребенок. Пусть о правлении, о политических сумасшедствиях думает его Эхе-дагини, восседающая на троне, благословляющая подданных не рукой – приспущенной с руки шелковой черной надушенной перчаткой. В подвалах его дворцов, и здесь, в этом, что стоял на самом берегу Толы, еще хранились запасы коньяков – «Камю», «Сен-Жозефа», «Наполеона», – Царского шампанского, привезенного из Царской коллекции из Санкт-Петербурга, – брэнди, виски и водок. О, водка уничтожалась быстро. Он любил водку больше всех других горячительных зелий. Чистая, прозрачная, как глаза реки, как глаза Бога... Будды.

А как же завет Будды? «Блюди красоту мысли, не отдавайся разврату»?

Перед ним мелькнула тень. Женская тень, в халате с широкими рукавами-крыльями. «Ты, Дондогдулам?!..» – вскрикнул он, назвав тень детским именем супруги, – но призрак исчез так же, как и появился: быстро, воздушно. Видения, он видит видения. Это от водки?... Это от прозрений великого ума, они все дураки, они не понимают. Я слепну, слепну, и мой тибетский врач, что поит меня отварами из тайно, при свете полной Луны, собранных на дальних плоскогорьях тибетских трав, горестно шепчет мне: «Владыка, о владыка, вы слепнете, вам нельзя принимать алкоголь». Пошел ты в Нижний Мир, бездарный врач, глупец, издеватель!

Там, в комнате, за дверью, в конце коридора, – там стол с ножками в виде позолоченных львиных лап, над столом – висячий шкафчик с инкрустированной нефритом дверцей, за дверцей, в шкафчике, – бутылка алтайской водки. Из Иркутска по Кяхтинскому тракту верный Доржи привез. Доржи, верный лама. Священнослужителя никогда не тронут. Власть может смениться; правителя могут убить в бою; заколоть кинжалом в покоях; но ламу, ламу не тронут во веки веков.

Где те времена, когда он раскатывал по столице на подаренном ему русским консулом авто, наплевав на ритуальный священный паланкин? Где артиллерийские увеселения, когда раз в неделю он, Богдо-гэгэн, приказывал выкатывать на площадь пушки и палить из них, палить в честь грядущей войны с иноверцами, с теми, кто не почитает великого Будду и его наместника на земле, Живого Бога Далай-ламу? Артиллеристы замирали у трехдюймовок, привезенных из Иркутска. Он, уже полуослепший, с трудом различал, как на резком степном ветру мотаются, трепещут на высоко вздетых шестах ленты из синей и красной далембы. На лентах были начертаны по монгольски и по-старомонгольски, а также по-тибетски, а еще по-китайски двадцать шесть имен Чингисхана. «Ба-бах!..» – гремел залп, и гулкое множественное, дробное эхо раскатывалось по склонам горы Богдо-ул. Где было последнее, двадцать седьмое имя? Оно, по преданию, начертано на чешуе безглазой рыбы. Рыбу выловят из водоема лишь тогда, когда последний владыка Шам-Ба-Лы, бритый налысо, смеющийся перламутровыми вечными зубами Ригден-Джапо, протягивающий голую пятку свою для поцелуя тем счастливым, кто, выжив в последнем кровопролитном бою, явится к нему в Страну снегов, чтобы поклониться ему до перехода в состояние бардо, в своем подземном дворце с окнами из пластин слюды, отделанными звездчатыми сапфирами и кабошонами саянского лазурита, повернет на своем пальце перстень с восьмигранным камнем Шинтамани.

Повернет перстень с камнем Шинтамани – и на Севере в эту минуту воздымется в неизвестных миру, крепких смуглых руках белое девятихвостое знамя, и на нем кровью сердца, вырванного из груди врага, будет начертано последнее, Двадцать Седьмое Имя.

Может быть, это его, его имя?!

Многого хочешь, старый Богдо-гэгэн. Ты хочешь водки.

Я хочу водки, водки. Дайте мне водки. Скорее. И я согреюсь. Тепло, покой. Вот что мне надо. Я устал от войн. От вечной Зимней Войны. Согрейте меня. Защитите меня. Убаюкайте. Я усну.

Он толкнул дверь. Вошел в комнату с высокими сводами. В комнате тонко, призрачно и томяще пахло сандалом. Всюду стояли граммофоны. Их цветки-раструбы, казалось ему, медленно поворачиваются к нему. На стенах висели китайские и монгольские гравюры, рисунки и живописные работы; все они изображали сцены совокупления. Мужчина в расстегнутых штанах, из которых высовывался длинный, как у осла, темно-коричневый уд, держал над собой, ухватив под мышки, маленького роста девочку; шелковые одежды девочки свешивались до полу, сквозь разошедшиеся в стороны кружева белел живот с четко обозначенным пупком, чернели редкие волосики на любовном холме между тонких ножек. Он уже не видел, не различал фигурок на гравюрах. Он только мог погладить пальцами позолоту рамки. Гораздо больше, он помнил это, его возбуждала другая картина. Богатое ложе, шелковый балдахин, зеркала кругом – на потолке, вокруг кровати, на стенах. Любовная пара самозабвенно соединяется на ложе и отражается во многих зеркалах, повторяясь бесконечно. Мастер с ловкостью Подглядывающего изобразил тот момент, когда женщина, присев над лежащим навзничь мужчиной, садится на него верхом, направляя рукой жезл наслаждения себе внутрь, в Сердцевину Пиона.

Он не видел; он помнил. Он приказал сделать себе во дворце точно такое ложе с балдахином и точно такие зеркала вокруг. И забавлялся со своей женой, наблюдая их отражения. Их любовь уходила далеко в пространство зеркал. Далеко, далеко... ушла... Он вскинул руку, пощупал картину, которую не видел. Засохшие потеки, накаты масляной краски вздрогнули,

поплыли, как живые, под дрожащей высохшей рукой. Я стар, да, стар. Но мой уд жив. Я мужчина и умру мужчиной. Наощупь он нашел ручку дверцы всячего шкафчика, рванул на себя. Нашарил початую бутылку. Откупорил. Ущупал на полке и хрустальную стопку. А закуска?.. Великий Будда простит ему отсутствие закуски. Он выпьет, сил прибудет, и он еще сегодня переспит с Эхе-дагини. А может, и с любой девочкой-наложницей, что по его приказу немедленно приведут ему эти подлые трусы, гаминь-китайцы. Они пленили его, но они боятся его. Это участь всех узурпаторов. Ах, жаль, он уже никогда не увидит себя в любовных зеркалах.

Он налил стопку – слепой, не пролил и капли, – поднял, улыбаясь, и влил себе в рот. Не четыре, а лишь три священных жидкости есть на земле: водка, семя и кровь. Будучи с женщинами, он умел втягивать в себя выпущенное в любовницу семя – так, как губы втягивают из чашки горячее молоко. Это умели немногие люди на земле, посвященные.

Кто пробежал мимо него в коридоре?.. Эхе-дагини шептала ему, прислонив ракушкой ссохшуюся ручку к его уху: китайцы, от греха подальше, тайно поселили в этом же дворце, где ютятся они сейчас, бывшую жену барона Унгерна, принцессу Елену Павловну, называемую также и Ли Вэй... Почему он не окликнул ее: Ли Вэй!.. Ах, все плен. Зачем ему какая-то девка Ли Вэй. Ему бы сейчас тоненький ломтик осетрины... лимончика кусочек ароматный... копченую медвежатину, строганину... тепло... да, так, только так должно быть тепло, радостно...

Унгерн... Он властный, он умный... Он знает, что такое Бог... Может быть, он поможет ему, старику... Может быть... Еще стопочку... еще... маленькую...

Он налил, выпил еще. Струйка водки потекла у него по подбородку, как белая кровь. Он утер рот рукавом брусничного-алого, расшитого золотыми драконами дэли.

И звон, тягучий, страшный звон восстал, поднялся вокруг него. Это часы в коридоре, в комнате, на стенах, у него в затуманившейся радостью голове уже били полночь. Двенадцать раз. Сто, тысячу, сто тысяч двенадцать раз.

* * *

Вот это была находка так находка... Господи сил, да закреститься на месте и с него не сойти, вот это находочка, мать ее ети...

Осип Фуфачев все никак не мог опомниться. То один гром грянет с небес, то другой. Тут позвал было его главный, он-то думал, сердиться, бить в морду будет, ан нет! С главным рядом стоит этот, ургинский житель, брательник нашего атамана, Иуда. Однако тоже казак Иуда-то, да и статью вышел; глядит на него, на казака Фуфачева, и вдруг руку ему на плечо кладет, плечо пожимает и говорит: да, такого мне и надо. И барон-то глядит на него, на Осипа Ефимова сына, так жгуче, будто два белых угля из костра вынули; он-то даже задергался под этим взором, а командир ему и бряк: работать будешь при Иуде, работать! Делай все, что он тебе повелит!

Он согласился... А потом его в виде водовоза – опять некому воду возить, а все пить, жрать и мыться хотят, собаки брехучие!.. – на реку заслали, ну он и поехал. И нашел там...

Фуфачев сидел, как заговоренный, как прикованный, уже три часа кряду, около своей палатки. Разглядывал, веря и не веря, диковинный нож. Его нашел он, когда набирал воду в чаны, на каменистом берегу Толы. Нож был обычный, привычный – сибирский, таежный, охотничий. Вроде мужицкий был нож, а рукоять ножа была выточена в виде... фу, Господь милостив, а надо же, эк мастера-то постарались, для смеху, что ли, для гоготу и ржання мужицкого, лошадиного?.. Рукоять ножа, из темного золотисто-розового дерева, неизвестного солдату, была точь-в-точь мужской подъятый, напряженный жезл. Или – навряде конский?.. Осип хрюкнул в кулак, слезы еле сдерживаемого смеха показались у него на глазах, он вертел забавную срамную вещицу так и сяк, то вверх, то вниз, хохотал в голос, бормотал: «Бабу хочет кинжал, бабу!..» – пока вдруг, как-то удачно повернув боковую, гладко сточенную поверхность

ножа к свету, к пучку солнечных лучей, брызнувших из-за набежавшей снеговой тучи, он узрел и еще нечто такое, от чего охнул и подвыл слегка, как зверок:

– Ой-е-е-й-йа-а-а!..

Изображение, узренное им, исчезло. Он выругался, зажмурился, помотал головой, стал поворачивать нож снова и снова, увидел опять. Замер, застыл, боясь пошевелиться. Из серебристого стального, узкого лепестка лезвия вставала, мерцала нагая женская фигура. Женщина стояла к Осипу спиной. Задом, проще говоря. И не совсем она была голая. Ноги ее ниже ягодиц были окутаны темной тканью. Осип уставился на голую бабу внутри ножа, испуганно приоткрыв рот. Вот это был номер! Всем номерам номер... Он повернул нож другой стороной, завертел его, желая рассмотреть: а тут, тут тоже такая же бордельная дамочка выцарапана?!.. – и точно! И тут высветилась нимфа!

На сей раз она стояла передом к опешившему солдату. Он мог рассмотреть ее во всей красе – груди, живот, пупок, плотно сдвинутые бедра. Он уставился туда, на то место, куда так рвутся все на свете мужчины, чтобы войти, вонзиться туда, откуда они все вышли. На причинном месте у бабы никаких волосков не было. Она была гладко выбрита, и взгляду Осипа предстала обнаженная, гладкая, розовая женская раковина. Нежная расщелина прочерчивала холм, будто наметенный снегом, ровно надвое. Рука Осипа сама потянулась к ширинке, он, выругавшись, одернул себя: эдак и спятить недолго, казак! У него давно не было женщины. Он не был женат – дома его никто не ждал. Как пошел он воевать, когда началась все эти дикие заварухи в матушке-России, так и поминай как звали его жен, невест... Он любовался голой девушкой на ножевой отточенной стали. Он не понимал – кто, как, каким ухищрением и искусством выгравировал ее здесь, да так, чтоб и не сразу увидеть можно было?..

И все-таки рука постыдно легла между отверделых ног, и солдат сжал свой горячий штык, уже готовый рубить, колоть, вонзаться в живое, податливое, жаждущее. Он глядел на девушку на боковине ножа и гладил, и сжимал кусок дрожащей плоти, и закусывал губу, и стонал уже в голос, – как вдруг рядом с ним раздался басовитый сердитый окрик: «Ба-алуй!» Он вскинулся всем телом, вскочил на ноги, тяжело, запаленно дыша, – а это всего лишь дневальный осаживал заигравшегося коня.

Та-ак, ну дела! «Уф-ф-ф-ф, ворожба клятая, ажник душу рисунок из тела вынает... Охолонуть бы скорей... Штоб никто не приметил рожи моей блудной...» Эту диковину надо показать Иуде Михалычу. Всенепременно! Ибо рядом с этим ножом на пустынном берегу Толы валялось еще кое-что. И он это кое-что приволок тоже с собою, благо не груз какой.

Это был оторванный от мундира погон.

Погон подпоручика.

* * *

Рынок Захадыр гудел всюю.

Здесь стояли и торговали и байкальские рыбаки, белозубо смеясь над ведрами мороженого омуля: «А вот омулька, омулька свежего кому!» – и коричневые старухи-бурятки с бочонками меда – они зачерпывали густой мед, цвета сердолика или слюдянского топаза, деревянными черпаками и наливали в маленькие баночки; на лотках были разложены куски баранины и конины, на их грубых красномраморных разрубках серебряной вышивкой поблескивали иглы инея; бабы из Култука и Кяхты бойко торговали янтарной ягодой-облепихой, насыпая ее из туесов прямо в сумки покупателям; торговки мехом трясли на вздернутых руках шкурками соболей, белок, куниц; там и сям на прилавках белело, золотело застывшее на морозе молоко, круги сливок – так в Сибири и Монголии издавна продавали молоко зимой, и Катя дивилась: удобно, да, да вдруг, пока восвояси везешь, растает?! «Не растает, – улыбался Семенов, – морозец крепкий, Бог помилует». Художники-простолюдины, раскосые монголы, сидя прямо на

снегу на корточках, по дешевке продавали раззолоченные мандалы и фигурки медных Будд, разложенные на мешках. Яркий китайский лиловый лук особенно слепил глаза на фоне чисто-белого, с утра выпавшего снега. У ворот рынка фыркали привязанные и стреноженные лошади, валялись в телегах пустые мешки и крутобедрые бочки, черными бульдожьими мордами презрительно глядели новомодные авто. И солнце, брызгая с густо-синего неба желтыми сливками, заливало весь Захадыр; и золотая прядка Катиных волос светила, выбившись из-под куничьей шапки вдоль бруснично разрумяненной щеки.

Они приехали на Захадыр втроем: Семенов, Катя и Машка. Атаман взял с собой обеих женщин – один бабий ум хорошо, а два еще лучше, две бабы скорее и умелее разберутся, какую снедь и сколько купить, втроем загрузят провизию в автомобиль. В лагере кончилось мясо, подошли к концу овощи. Катя ходила меж рядов, выбирала. Машка, вздернув нос, шествовала за ней по пятам: подумаешь, цаца! Барынька недорезанная... Иной раз Машка совалась вперед, мяла грубыми пальцами, щупала лук, капусту: «Экая у вас капуста-то вялая! Больная, что ли?» Бурятки и монголки махали на нее руками: отойди, орус, не понимаем! Русские бабы смеялись: а тебе что, я чай, с ножками кочан нужен, ай сейчас побежит?!.. Семенов сжимал в кармане бумажник. Они с Катериной так привыкли транжирить, тратить... Унгерн настрого наказал ему: денег много не расходуй, может, понадобится еще оружия подкупить у англичан.

Купив еду и загрузив мясом, овощами и мороженым молоком багажник «лендровера», женщины хотели уже было садиться в машину, как Семенов остановил их: «Сударыни, а хотите, посидим в милейшем ресторанчике? Я знаю один поблизости... Мы все в степи да в степи... а вы, должно быть, соскучились и по развлечениям, вы ж у меня, – он покосился на размазанную куклу Машку с птичьими лапками морщин вокруг глаз, – молодые...» Он перевел взгляд на Катю. Жена дышала свежестью и истинной молодостью, ее упругие щеки пылали, карие глаза ясно и радостно светились. Кажется, она уже попривыкла к Машке. Мужик всегда приручит и оседляет свою бабу, как лошадь. Ничего, пострадает и смирится. Все, что ни происходит, – к лучшему. У быка в стаде много коров.

Женщины, переглянувшись, охорошившись, обрадованно приняли его предложение. Снег морковкой хрустел под ногами, они шли, на ходу быстро переговариваясь, весело смеясь. Вот и вывеска – надпись по-русски, аляповато позолоченными, пьяно-кривыми буквами:

РЕСТОРАЦІЯ

Отряхнув снег с шуб, они вошли внутрь. Улыбчивый, подобострастно кланяющийся лакей, благообразного вида старичок в зеленой, расшитой золотом ливрее, принял у них верхнюю одежду.

– Сюда пожалуйте, господа хорошие.

В Машку стрельнул глазами из-под белых, как полынные кусты, бровей, – будто бы знал ее, припомнил.

Ого, и впрямь русский ресторанчик. Русская речь, русская музыка тихо доносится из зала – нежные переборы балалайки, «Ямщик, не гони лошадей»... Катя, поправляя волосы, небрежно спросила мужа:

– Ты знаешь хозяина? Ты часто здесь бываешь?..

Машка так и вспыхнула под своей дешевой сетчатой вуалькой. Ну не будет же он рассказывать Катерине, что именно в этой «РЕСТОРАЦІИ» он и подцепил Машку, наглуую, развязную шансонетку, певшую здесь то блатной одесский, то таборный цыганский, то слезно-салонный репертуар. Машка нахально села тогда к нему на колени, попросила: «Угостите китайским мандаринчиком, дядечка!..» Он стал щупать ее пухлое, расплывшееся тело сквозь оборки юбки. Никто не узнавал в нем здесь, в прокуренном ресторанишке, атамана Азиатской дивизии, наво-

дившего страх на всю Сибирь. Шансонетка прижалась к нему колыхающейся в вырезе платья сдобной грудью: «Возьми меня с собой, красавчик, возьми, казак, не пожалеешь...» Катя была далеко. День такой тогда был. И жизнь была одна.

– Часто. Здесь хорошо. Напоминает, – у него внезапно перехватило горло, – Россию... Москву... «Яр», «Стрельну»...

Они сели за стол. Клубы сизого табачного дыма вились под потолком небольшого зала, народ курил здесь безбожно. На столах стояли массивные малахитовые, нефритовые пепельницы с рельефами, изображающими сплетенные в любви мужские и женские тела. Раскосый мальчик-официант, с белым полотенцем, перекинутым через запястье, вежливо склонился перед ними. Сначала пролопотал нечто по-монгольски, потом замыкал по-китайски, потом нежно пропел по-русски:

– Съто зелаєте, каспада? Есь холоси отвалная лыба, уха, есь икла, есь блинчики с иклой, есь ласстегай...

– Блинчики тащи! Три порции.

– Съто балин пить будет и балысни? Для балысни мозет быть сладкий вино, для каспадин...

– Для «каспадин» водку тащи, разумеется, – сердито оборвал его Семенов. – Барышни, вы будете пить мадеру? Тащи и мадеру. Там разберемся.

– Есь ессе, есьли каспадин зелаєт, коняк, сакэ, сладкий медовуха...

– Я сказал – мадеру! Знаю, как у вас готовят медовуху! Из-за стола не встанешь...

Официант-китаец унесся на кухню со всех ног. Невидимый балалаешник перестал тренькать «Ямщика». На маленькую сцену вышла певичка. Машка так и впилась в нее глазами.

– А, Иринка, стерва... Мое место тепленькое сразу же заняла... Изгаляется тут сейчас, сопля... А петь-то, Федура, не умеет, не поет, а скрипит... Глотку-то хоть коньяком смажь, ты, профурсетка... – забормотала Машка, не сводя глаз с певички. Семенов насмешливо наблюдал за ней.

– Что, Маша, тряхнуть стариной захотелось? Валяй, тряхни. – Семенов кивнул на сцену. – Вот допоет, и ты ступай... Ступай, ступай! Пока блюд ожидаем... споешь что-нибудь хорошее... и Катя тебя послушает...

Машка вскочила, лягнув стул ногой. На нее оглянулись. Катя потихоньку наблюдала за публикой. Дамы одеты не слишком роскошно, но с претензией на изысканность: черные короткие платья а ля Коко Шанель, черные перчатки, длинные пахитоски в зубах, длинные висячие серьги до плеч, алмазики на груди – настоящие или стразы? Сейчас все стразы, все подделка, подумалось ей грустно. Настоящий только лиловый лук на рынке да баранье мясо. Семенов наемни заказал ей сделать пельмени... а она все никак не соберется... да и мяса в дивизии – не ахти какие запасы... вот нынче подкупили...

Машка шла к сцене между столиков, прорезая выпяченной грудью табачный дым, а Катя осматривалась: да, да, много эмигрантов... Но есть и монгольские лица... Они глядятся среди русских древними камнями, медными воинскими щитами... Ее ухо уловило, среди русского бормотанья, и сбивчивую, торопливую английскую речь. В таком ресторанишке наверняка, как голавли в тихой речке, водятся шпионы. Тусклый, приглушенный свет сочился из-за хрустальных висюлек огромной, как остров, люстры, свисавшей блискучей, искристой гроздью прямо над их головами.

Машка уже дошла до сцены. Взлезла на нее. Подойдя к рампе, ослабилась, по-свойски отпихнула кланяющуюся певичку, подмигнув ей, та вытаращилась на Машку изумленно: «Ой, гляди ж ты, живая, Манька... А мы тебя уж тут похоронили!..» – и, вдруг выбив каблуками быстрюю наглуую чечетку, подбежала к самому краю сцены, и публика в зале охнула – сейчас упадет!

– Ах, шарабан мой, американка! А я девчонка да шарлатанка! – закричала она со сцены в зал, да так нагло и весело, что все сразу заулыбались. Маленький оркестрик – два скрипача, гитарист и старик-тапер за обшарпанным роялем, впивающийся в клавиатуру, как орел – когтями – в скалу, быстро подхватили знакомый мотив, вжарили по струнам и клавишам, стали наяривать залихватскую песенку. Семенов азартно хлопал в ладоши.

– Ну, Машка!.. Ну, сукина дочь!.. Вот вытворяет!..

Машка уже каталась по сцене кубарем и колесом. Она отплясывала канкан, задирали толстые ноги выше головы, и Катя поразились молодой гибкости и подвижности ее пожившего, потрепанного располневшего тела. Как она вертелась! Как озорно задирали юбку, показывая публике белую ляжку! Ну, Мулен-Руж... Вот этим, да, этим она его, мужлана, и прельстила...

Внезапно Трифон ткнул Катю локтем в бок. Она поморщилась: что за мужицкие манеры, мне же больно, Триша!

– Гляди-ка, вот это да, Иуда пожаловал... Собственной персоной...

Катя вся вспыхнула. Она заставила себя поверить, что искренне обрадовалась шурина. Он уже шел между столиков к ним, искоса бросая взгляды на сцену, где под залихватский аккомпанемент оркестра разнузданно, оголтело-рьяно плясала Машка, трясая по-цыгански грудями-дынями. Иуда подошел к ним. Вот он рядом. Вот он здесь. О лучше бы он ушел, сгинул куда-нибудь скорее. Зачем он так близко к ней стоит?

– Рад видеть вас здесь, – легко поклонился он. – Трифон, ты уже заказал еду? А то я угощаю...

– Да вон несут уже, не хлопочи, братец, – поморщился Семенов, расстегивая пуговицу на кителе. – Мерси боку, ходя! – кинул он китайцу, угодливо расставлявшему на столе блюда. Красная икра россыпями саянских рубинов лежала поверх горок свежее испеченных блинов. Китаец уже откупоривал мадеру, запахло сладким давленным виноградом, отсырелой пробкой.

– Ух, Иудушка, просто слюнки текут, – потер ладони Семенов, всегда любивший вкусно поесть, – там-то, в лагере, отвыкаешь от такого... цивилизного... Какими судьбами здесь, у Сытина? Жалуешь Ивана Андреича? Или он тебя?..

– Да низачем, – улыбнулся Иуда одними губами – глаза его не улыбнулись. – Просто отдохнуть пришел от этой мерзкой суеты. Все гибнет, все разваливается, брат. И мы – не иголки с нитками, чтобы сшивать прорехи. Ступай, голубчик, я сам даме налью, – отослал он услужливого китайца, уже вертевшего в руках откупоренную бутылку над алмазно сверкающими рюмками.

Налил Кате в рюмку темно-вишневой мадеры. Себе и брату – водки.

– А это чей пустой прибор?

– Не узнаешь? – Семенов кивнул на сцену. – Это же Машка! Глянь, как пляшет, оторва! Залюбуешься...

– И ей нальем. Ну что ж, дорогие родные, ваше драгоценное здоровье!

Они сдвинули рюмки, раздался хрустальный звон. И отчего он показался Кате погребальным? Будто бы все они сидели на дне черного гроба... на дне могилы, где пьют и курят и едят и любят и умирают... и думают, что будут жить вечно, вечно... Она трянула головой, отогнав мрачные думы.

– Ваше здоровье, Иуда Михайлыч!

Выпили. Трифон ложкой положил на блин икры, свернул блин трубочкой, смачно зажевал. Иуда подцепил на закуску кусок мяса с принесенного китайцем большого мельхиорового блюда с вареным мясом. Разговаривая с братом и Катей, он незаметно, украдкой шнырял глазами по залу. Высматривал кого-то.

Кажется, он увидел того, кого искал. Высокий, длинный человек в черном светском смокинге, в пенсне в позолоченной оправе, седой, с залысинами, с гладким, будто отполирован-

ным, непроницаемым лицом, сидел за столиком поблизости, один, потягивал белое вино из высокого бокала. Человек в смокинге тоже заметил Иуду. Они оба молча переглянулись.

Чтобы не возбуждать подозрения, Иуда снова быстро повернулся к Кате. Семенов налегал на блины, уже разливал по второй. Машка, закончив свое хулиганское пенье, сорвав аплодисменты и крики: «Бис!.. Прелесть!.. Еще!..» – триумфально улыбаясь, шла к их столику, некрасиво вытирая пот со лба и щек рукой и задранном рукавом платья, будто баба на жаркой пожне.

– Ух, утомилась... Ага, Иудушка пожаловали! Наше вам почтение! – Ее грудь выпятилась, серьги в ушах дрогнули. – Рады, рады!.. Как делишки в этой несносной Урге?.. Проклятуший городок, я вам скажу, мужики... Ни выпить прилично, ни закусить... Это разве икра? Это ж не икра, а красное говно! Вот в «Стрельне», бывалочи, икру так икру подавали... а на Сахалине!..

– Ты на Сахалине, матушка, что ж, каторгу отбывала, что ли? – спокойно спросил Иуда, намазывая белый хлеб маслом. Машка так и вскинулась:

– Еще поговори так со мной! «Каторгу»! Я тебе такую каторгу покажу...

– Не трогай ее, Иуда, – остановил его Семенов, вытирая рот салфеткой. – Пусть брешет что желает. Каточек, не остыли блины?.. а то я их в рожу этому ходе вывалю...

– Нет, дорогой, не остыли.

Протянуть руку. Попросить: передайте мне нож, передайте перочницу. Улыбнуться холодно, приветливо. Как он глядит на нее! Не поддастся этому взгляду. Отвергнуть его. Отвратиться от него.

О чем Иуда говорил с ней? Она не знала. Она только слушала его голос. Она слышала – он недвусмысленно дает ей понять: я не прочь с тобой развлечься, хорошенькая курочка. Или это ей только казалось, и он не настолько пошел, как она о нем думает? От этого светского, пристойного, разрешенного этикетом ухаживания пахло огнем, горелым.

– Извините, господа, мне надо отлучиться на минуточку...

Катя встала, бросила салфетку на стол. Оркестрик уже всю наявивал «Очи черные, очи жгучие». Захмелевшая эмигрантская публика хохотала, еще пуще курила, забывая дымом до отказа маленькую коробочку зала «РЕСТОРАЦИИ». Катя, не слишком твердо ступая после двух выпитых рюмок мадеры, прошла в дамскую комнату. Там тоже было невыносимо накурено. Она – что это вдруг на нее накатило, Господи?.. – невыразимо стесняясь, попросила пахитоску у стоявшей возле окна, надменно закинувшей коротко, под мальчика, стриженную голову, дамы; на худых пальцах дамы тусклым, бредовым светом горели массивные серебряные перстни. Дама столь же надменно протянула: «Пахитоску не могу, мадмуазель, – увидела у Кати на пальце золотое кольцо, – простите, мадам, а вот сигаретка найдется... Прошу огоньку...» Катя прикурила и закашлялась. Дама в серебряных кольцах насмешливо покосилась на нее.

– Первый раз, никак, затягиваетесь?.. Любовник, небось, бросил?.. плюньте, к чертям пошлите его... в ваши ли годы скорбеть... в Урге полно кобелей...

– Нет, это я бросила его, – неожиданно для себя самой сказала Катя и вышла из дамской комнаты, резко швырнув недокуренную дареную сигарету в чугунную урну.

Выйдя в ресторанный коридор, узенький и тесный, при входе в зал, она столкнулась с холеным высоким седым господином в пенсне, с залысинами, в церемонном галстуке-бабочке. Глаз господина не было видно за блестящими стеклами пенсне. Он отчего-то взял Катю за локоть, и она не сочла это наглостью – так вежлив и предупредителен он был, респектабельность доброго старого времени так и сочилась из него, словно мед.

– Простите, мадам... Но вы знаете, горе, какое горе...

– Нет, – помотала головой Катя, – не знаю...

– Вы знаете, сударыня, что вчера наши войска, после упорных боев, с большими потерями... с больш-ши-ми потерями!.. оставили Спасск?.. Теперь Владивосток – наш последний,

увы, последний оплот на Востоке... Боже, что будет, если красные будут брать Владивосток... что начнется... Как ваше имя, прелестное создание?..

– Катерина.

– Очаровательно. Катишь... Китти?.. ах, просто Катя... А я Александр Разумовский. Александр Иванович, ежели по батюшке. Не присядете хоть на несколько минуточек за мой столик?.. Я здесь один, – он извиняюще развел руки, – а я услышал русскую речь, да и задрожал, представьте, как пес на охоте... вот еще одни русские... ну, мы-то теперь скоро окажемся под Унгерном, русских прибывает... а то, знаете, душенька, с тоски тут, в Азии, умереть можно...

Она сжалилась над холеным, таким вежливым, трогательно смущенным перед нею аристократом. Он действительно хотел поделиться своим эмигрантским горем. А она? Как она восприняла это известие, что Спасск сдан? Да никак. Она под села за столик Александра Ивановича, сделав ручкой мужу: не волнуйся, я сейчас приду. Разумовский говорил, говорил без умолку, налил ей вина. Она выпила и поняла, что собеседник умен. Семенов через столы и мельтешенье китайских официантов мрачно глядел на нее. Она чувствовала на себе его неотступный взгляд.

А может, это не муж глядел на нее.

Может, это Иуда глядел.

– Хотите, Катерина Антоновна, я вам нечто удивительное покажу? Нечто очень романтическое... и печальное, м-да-с, печальное...

Порывшись в кармане, смущенно покашляв, Разумовский вынул на свет Божий фотографию. Четкая печать отсвечивала коричневой копотью. Катя наклонилась над столом, над чуть дрожащей ладонью Разумовского. Тонко, будто резцом по дереву, выточенное узкоглазое лицо. Молодая женщина, девушка. «Что за красавица!» – почти завистливо подумалось Кате. Для восточной женщины, бурятки или монголки, девушка была чересчур, волшебным пре-красна. Такими тонкой кистью художники Востока издавна рисовали дакини... апсар... или ангелов-Тар – женские воплощения Будды. На высокой тонкой шее девушки Катя рассмотрела православный крестик.

– Кто это?.. – Она погладила пальцем бархатистую коричневую бумагу.

– Это, – Разумовский поднял палец, – жена нашего тирана, нашего чудовища... нашего знаменитого Романа Федоровича, будь он проклят, душегубец... а еще прикрывается святыми словами: за Царя, за Отечество!.. глупости все это... Унгерн под Ургой стоит... ну да недолго простоит, хоть вся Монголия ползет к нему на брюхе, а теперь еще и Китай, и Японию ему в союзники прочат. А это, милочка моя, жена его... Китайская принцесса.

– Но... У барона нет никакой жены! – вырвалось у нее. – В лагере Унгерна, по крайней мере, ее нет!

Острый взгляд из-под блестящего пенсне господина с залысынами пригвоздил ее к стулу.

– Вы из окружения Унгерна?

Отступать было некуда. Врать складно она не умела.

– Да. Я супруга атамана Семенова.

– Вы недавно, видимо, приехали в Монголию из России, по вас видно. – Она не различала выражения его глаз под стеклами пенсне, в которых отражался слепящий хрусталь ресторанной люстры. – Китайскую принцессу Ли Вэй, в крещении Елену Павловну, убили. Ее убили недавно. Она уже жила одна, в собственном доме в Урге, недалеко от дворца Богдо-гэгэна. Унгерн дал ей развод.

– Кто же убил бедняжку? Так красива...

– О да, Елена Павловна была красива, как нефритовая статуэтка Белой Тары в алтаре в Да-хурэ. – Господин Разумовский закурил, щелкнув пальцем по золотому портсигару: можно? Катя наклонила голову. Табачный дым обволок ее тонкими усиками лимонника. Разумовский

поджал губы в улыбке. – Кто убил? Неизвестно. А вы, поскольку вы живете в лагере, разве не знаете? Разговоры... слухи... сведения просачиваются в дырки, в щели...

– Я никогда не верю слухам.

– Это похвально.

– Простите. Меня ждет муж. Может, увидимся еще.

Она шла от стола Разумовского к их столу и думала сердито и испуганно: дура, дура, ну зачем она разболталась так с этим лошеным господином, ну да, он русский, он обходительный, он благородный аристократ, он ее так незаметно разговорил, он вытянул из нее все, что хотел вытянуть... А что он, впрочем, из нее вытянул? Разве не он сам показал ей фотографию этой несчастной убитой китайской принцессы? А зачем он ей показал фотографию? Чтобы она поахала, поохала, поплакала вместе с ним над погибшей хорошенькой девушкой?.. О, нет, нет... *«Кто убил?.. Вы живете в лагере Унгерна... а вы разве не знаете?..»* Что ж, она не знает – и знать не хочет. Боже мой, да ведь она не хочет подходить к столику, не хочет видеть разбитную, раскрасневшуюся от водки и мадеры Машку, не хочет видеть угрюмого Семенова, не хочет видеть...

Не хочет видеть его смуглого красавца-брата.

Он раздевает ее глазами. Он нагл. Он кичлив. Он хитер. Он лис. Он еще та bestия.

«Господи, смотри на меня, смотри. Ну гляди же вот так на меня еще, еще, еще».

Она уселась за стол, протянула руку к уже остывшему блину с красной икрой, и ее пальцы наткнулись на холод хрустала. Иуда поднимал перед ней рюмку с мадерой.

– За вас, Катерина... – И, почти беззвучно: – Антоновна...

«Какой дурак. Зачем ты зовешь меня по отчеству. Когда ты назовешь меня просто Катя... Катенька... Катюша... я умру. Я сразу умру, слышишь?!»

Она протянула свою рюмку, и обе рюмки, столкнувшись, издали нежный, как из музыкальной шкатулки, слезно-печальный звон.

– Благодарю. Вы очень любезны.

Он, не отрываясь, глядел, как Катя пьет свою рюмку до дна.

Они сидели в «РЕСТОРАЦИИ» недолго. Машка, вопреки ожиданиям Семенова, не напилась пьяной до безобразия. Катя заметно погрустнела. Перед глазами так и стояло это тонко выточенное лицо с коричневой фотографии «МАСТЕРСКОЙ КАРЕЛИНА И КОМПАНИИ В УРГЕ», похожее на цветок лотоса. Китайская принцесса... Жена Унгерна... Убита... Страшное, все вдрызг, в осколки разбитое, изломанное время. Вдруг, подумалось ей, и ее так же убьют, и Трифон будет, плача и наливаясь водкой по уши, показывать ее фотографию так же, кому-нибудь, случайному собеседнику, собутыльнику в ресторане, попутчику в поезде... Когда они одевались, Семенов сунул сто китайских долларов гардеробщику, подумал и добавил русскую огромную, как простыню, купюру с невероятным количеством нулей. Гардеробщик, русский мужик с раздвоенной бородой, закланялся, закрестился, бормотливо поблагодарил доброго барина. Да, здесь еще была та, погибшая Россия, ее крошечный тоскливый островок: баре-господа, лакеи, рестораны, чаевые... Семенов надел на Машку непотребный лисий зипун – еще, видно, московских «стрельнинских» времен. Иуда держал в руках распыленную шубку Кати.

Они вышли на заснеженную улицу. Колючий снег бил в лицо. Катя, кутаясь в ангорский платок, поддетый под куничьей шапкой по-сибирски, сказала Семенову:

– Я пойду к авто скорее, ладно? Холодно. До свиданья, Иуда Михайлыч.

– До свиданья, Катерина Антоновна.

Она быстро, мелкими шажками, как козочка, побежала к «лендроверу». Уже стемнело. Она просто не хотела находиться рядом с Иудой, не хотела больше выдерживать обжигающий ее взгляд его сливовых длинных глаз.

Господи, какой же нынче блестит снег! Ярко-голубой, как звездчатый сапфир... Сапфир царя Соломона... Что там у царя Соломона было начертано внутри священного кольца?.. «ВСЕ ПРОХОДИТЬ»?..

Она присела, зачерпнула из сугроба рукой в перчатке искрящийся чистый снег. Поднесла ко рту. Укусила зубами, вобрала губами. Она ела снег, как в детстве, когда после катанья на санках или беготни, игры в снежки, страстно хотелось пить.

– Снег, какой ты вкусный, снег, – прошептала она. Газовые фонари призрачным, мертво-лиловым светом горели над ней в темно-синем ясном небе.

Она прижала снежный комок к горящей щеке, охлаждая ее, и внезапно из тьмы раздался чуть гнусавый, резкий голос:

– Эмгельчин ээрен... эмгельчин ээрен...

Из тьмы выступил раскосый человек в островерхой меховой шапочке. «Как шапка Мономаха, – подумалось ей, – она ведь тоже меховая и островерхая!.. такая же... Россия – азиатская страна...» Катя, отряхнув снег с перчатки, строго смотрела на монгола. На его плече сидел, вцепившись когтями в его короткий тырлык, сине-красный попугай. Попугай, по всей видимости, ничуть не боялся мороза.

– Кто вы?.. отойдите...

Попугай раскрыл клюв и процарапал воздух гнусаво, наждачно-шершаво:

– Ээр-рен... Эмгельчин ээрен... – И внезапно каркнул по-русски, грубо: – Кар-рачун тебе, дур-рак...

– Гасрын, птичка, не бойся, – успокаивающе сказал монгол. У него был такой же хриплый голос, как и у попугая. – Видишь, тебя бояться. И вы успокойтесь... Катерина Антоновна.

Она задрожала. До чего морозно сегодня. Нет, молоко в багажнике не растает.

– Откуда вы знаете, как меня зовут?!

– В дивизии все знают, как вас зовут.

Ага, этот Мономах из баронова войска. Ну что ж, тем лучше. Они все сюда, в Ургу, увязываются время от времени, сбегают из лагеря – либо гульнуть с копеешными проститутками, либо поднажиться на минутных заработках – что кому поднести, разгрузить привезенный товар в лавке купца, либо... Кто ж это?.. Она щурилась, всматривалась, не различала...

Ташур, с говорящим попугаем на плече, отступил во тьму. Из темноты послышалось лошадиное ржанье. Да это ж наш солдат на коне, подумала она весело. Раздула ноздри. Уловила лишь запах горячего, нефтяной запах машинного масла от кургузого, заляпанного дорожной грязью авто.

Глаза Луны

*Алмаз, зажаты в кулаке, ранит не руку, а сердце.
Монгольская мудрость*

В Астрахани он ел только селедку и воблу. Россия умерла. В России больше нечего было делать. И он вернулся на Восток.

Его друзья-калмыки спокойно и бестрепетно переходили в казачество. Придя в Монголию, он вспоминал те дни в пыльной рыбной Астрахани с улыбкой. Пусть Монголия стала провинцией Китая, это ненадолго. Унгерн вернет монголам Монголию. Он-то знает Унгерна. Это человек воли. Воля – единственное, что толкает людей на деяние. Все остальное – закон перерождения. В ком ты воплотишься, тем ты и будешь. Что было бы с ним, если б его мать, его отец, его деды и бабки нагрешили бы и он вновь родился бы собакой или черепахой? В трехлапую черепаху, медный китайский сосуд о трех ногах, он собирал кровь жертвенного барана, рассекая ему глотку ножом. Когда-нибудь он так же дернет ногами и затихнет – под чьим-нибудь вздернутым над ним ножом. А они все, его люди, все монголы, все буряты и ойраты, все уйгуры и тувинцы вокруг верят, что он – бессмертен. Что он выпил эликсир бессмертия, и теперь его не возьмет ни одна пуля, не разрубит ни один меч.

Люди то же самое говорят об Унгерне. Что ж, удачлив друг его. А он, Джа-лама, воистину бессмертен. Ибо он воплощение Амурсаны. Ему не надо пить тибетские напитки, дающие вечную жизнь. Не надо колдовать в полнолуние, одевая себя незримым непробиваемым щитом. Лунг-гом-па бежит по заснеженным дорогам, и из острия его кинжала-пурба ударяет вниз, отвесно, ослепительный луч. Он тоже бежит по дороге. И это его дорога. Только его. Никто не заступит ему путь.

Красные и белые дьяволы все равно истребят друг друга, и тогда настанет его время. Надо уметь ждать.

Дверь скрипнула. Вошел, низко кланяясь, один из его верных цэриков, Максаржав.

– Господин отдыхает?.. может быть, сделать жирный хурч, может, повелеть приготовить свежие поозы с бараниной?..

Дамби-джамцан медленно обернул крупную, круглую массивную голову. Толстые щеки дрогнули. Цэрик воззрился на налившееся кровью лицо, на глаза в складках обвислой кожи, чуть выпученные, с белками в разводах кровеносных сосудов. «Как он плохо выглядит, – подумал Максаржав с жалостью. – Почти не спит. Он чувствует опасность. Он как дикий зверь, на которого хотят напасть».

– Приготовь поозы, Максаржав. И... в моем кабинете... на столе... стоит бутылка, оплетенная лозой. Там сакэ. Настоящее японское сакэ. Его привез эта сволочь Биттерман. Принеси сакэ и горячие поозы в юрту. Я сейчас уйду отсюда. Я не могу здесь, в крепости, есть и пить. Я, как истый монгол, должен делать это в юрте. Разделишь со мной трапезу?

– Да, господин.

– Не было известий от Унгерна?

– Были известия от Семенова, господин.

– От какого? От Трифона?

– От Иуды, господин.

– Каковы известия?

– Готовится штурм Урги, господин.

Джа-лама пожал плечами. Максаржав видел – виски под перехваченной густо-алым, как кровь, платком уже серебрятся. Бессмертному Дамби-джамцану не так много лет, а он уже

седой. Мир горит и сгорает в огне, и, если ты бесстрастно глядишь на разрушения и смерть, огонь перекидывается на твое лицо, и ты морозом седины объемлешь пламя.

– Меня хотят пригласить... участвовать... в торжестве?

– Иуда Семенов через своего посланника просил передать вам, господин, что штурм будет происходить без вашего обязательного участия, только если вы сами пожелаете прийти на подмогу. В Урге организованы тубуты.

– А, тибетцы?..

– Их колония вблизи Захадыра. Их много. Они ненавидят китайцев. Над ними вызвался начальствовать человек недалекий, но полный священного огня, жестокий, по слухам, и молодой. Это один из палачей Унгерна, бурят Тубанов. Он организовал тубутов, уже существует Тибетская сотня. Группа заговорщиков, переодетых ламами, должна проникнуть в резиденцию Богдо-гэгэна через Святые ворота. Богдо-гэгэн и его божественная супруга будут похищены и унесены на вершину Богдо-ула.

– Откуда Иуда знает все это? От брата?

– Иуда знает все это от самого Унгерна. Это известия достоверные.

– Две рыбы должны соединиться мордами и хвостами, чтобы внутри них образовался тройной знак Небесной Войны. – Джа-лама встал с кресла, положил руки на поясницу, поморщился. «И поясница болит, как у старика», – отметил цэрик. – Значит, снова война? Отлично. И меня тоже ждут?.. Что ж, я никогда не отказывался воевать. Тем более, если речь идет о спасении и возрождении моей страны.

– И живого Будды, господин.

– Верно, Максаржав. Иди распорядись насчет ужина. И про сакэ не забудь.

Максаржав удалился. Джа-лама расстегнул темно-зеленое дэли, с пришитой к широким рукавам золотой тесьмой, с отороченными золотом отворотами воротника. Зло сорвал с головы платок. Растер рукой голую голову. Как многие воины, он брился наголо, чтобы не потеть, не пользоваться гребнем, не вычесывать из башки вшей. Через бритое темя, разделяя череп надвое, пролегал страшный, уродливый шрам. Однажды в бою ему, Неуязвимому, рассекли голову саблей. Он чудом остался жив. Старая бурятка по прозвищу Морин-Хур колдовала над ним, мазала ему темя и затылок тибетскими мазями и притираниями, закутывала в тряпки, вымоченные в уксусе и отварах горных трав. Морин-Хур поила его через каждый час горячим и холодным питьем, каким – он не знал, – и он все время мочился в подставляемую ему медную посудину, – а есть старуха не давала ему ни крошки. Ровно через десять дней Джа-лама поднялся с постели. Он спросил Морин-Хур: чем тебя вознаграждать?.. скажи, все исполню. Старуха насмешливо сверкнула узкими глазами. «Подари мне медную пулю, а себе ружье оставь», – ему казалось, она смеется над ним. Побледнев, закусив губу, он вытряхнул пулю из магазина. Протянул на ладони старухе. Бурятка попробовала пулю на зуб, как монету. «Что ты с ней сделаешь?» – «Просверлю дырочку, буду носить на груди. Пока я ношу ее на груди, тебя не возьмет никакая пуля». Он спросил Морин-Хур: от чего я умру? «Тебе отрубят голову, батор», – беззубо улыбаясь, зажав пулю в кулаке, спокойно и радостно сказала старуха.

А теперь будем отдыхать. Морин-Хур, скорей всего, давно умерла, а он еще жив – и будет жить вечно. Пуля, дура... Это человек дурак. Ригден-Джапо еще не повернул на палец свой перстень. Какой камень у него в перстне? Сапфир? Синий камень, прозрачный камень, синее небо. Тишина. Давай отдохни, Дамби-джамцан. Холодно? Ты выйдешь на воздух. Ты пойдешь к пруду. Рядом с крепостью для тебя выкопали пруд и наполнили его водой. Он замерзает по зиме. Ты возьмешь пешню, разобьешь наросшую за ночь корку льда, разденешься, встанешь у зазубрин ледяной кромки, глубоко вдохнешь морозный ветер, жизнь. Ты жив еще. Ты жив. И ты мудрец. Ты не посягаешь на власть над Азией – то, на что, сам не отдавая себе в том отчета, посягает Унгерн. Тебе не нужна власть: ты и так ее имеешь. А кому-то будет нужна твоя

голова. И ее на пике, с оскаленными зубами, лысую, повезут по городам, чтобы хвастаться: мы убили Бессмертного.

Он зажмурился, отогнал видение. Спустился по лестнице, по каменным грубым ступеням, вниз, во двор. Зубчатые стены крепости молчали. Одинокий огонь горел на угловой башне. Максаржав распорядился всю ночь жечь факел. Но ведь уже скоро утро. Уже утро, и вот рассвет.

Бледное небо наливалось нежной розовостью, как щека девушки на морозе. Джамбиджамцан, чуть вперевалку, раскачиваясь, как утка, на своих кривых, словно рахитичных, ногах кочевника, номада, подошел к замерзшему озерцу. Пешня лежала тут же, на берегу. Он взял ее, легко расколел наледь. Черная вода выбрызнула поверх прозрачной пластины льда. Он медленно разделся, кидая одежду на снег, как стяги поверженного врага; горячее тело схватил цепкими колючими когтями безжалостный холод. Джа-лама вжал живот, вминая в снег ступни, тяжело подбрел к проруби, долго стоял, смотрел на смоляную темь воды. Будда, отец твоего духа, не боялся ни холода, ни жара. Амурсана, ты же освежался холодом вод, горьким вином, горячим женским лоном. Вперед, Джа-лама, может быть, когда ты возродишься в облике Ригден-Джапо, ты вспомнишь это утреннее купание в Тенпей-бейшин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.